

Викентий Вересаев

В тупике



Викентий Вересаев

В тупике

«Public Domain»

1923

Вересаев В. В.

В тупике / В. В. Вересаев — «Public Domain», 1923

«В бурю белогривые волны подкатывались почти под самую террасу белого домика с черепичною крышею и зелеными ставнями. В домике жил на покое, с женой и дочерью, старый врач-земец Иван Ильич Сартанов, постоянный участник пироговских съездов. Врачам русским хорошо была знакома его высокая, худая фигура в косоворотке под пиджаком, с седыми волосами до плеч и некурчавящеюся бородою, как он бочком пробирался на съезде к кафедре, читал статистику смертных казней и в заключение вносил проект резкой резолюции, как с места вскакивал полицейский пристав и закрывал собрание, не дав ему дочитать до конца. Во время войны он стал было подводить на съезде статистику убитых и раненых на фронте, обронил слово „бойня“ и очутился в Бутырках...»

© Вересаев В. В., 1923

© Public Domain, 1923

Содержание

Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Викентий Викентьевич Вересаев

В тупике

*И ангелы в толпе презренной этой
Замешаны. В великой той борьбе,
Какую вел господь со князем скверны,
Они остались – сами по себе.
На бога не востали, но и верны
Ему не пребывали. Небо их
Отрицало, и ад не принял серный,
Не видя чести для себя в таких.*

Данте. «Ад», III. 37–42.

Часть первая

*Жил старик со своею старухой
У самого синего моря...*

В бурю белогривые волны подкатывались почти под самую террасу белого домика с черепичною крышею и зелеными ставнями. В домике жил на покое, с женой и дочерью, старый врач-земец Иван Ильич Сарганов, постоянный участник пироговских съездов. Врачам русским хорошо была знакома его высокая, худая фигура в косоворотке под пиджаком, с седыми волосами до плеч и некурчавящеюся бородою, как он бочком пробирался на съезде к кафедре, читал статистику смертных казней и в заключение вносил проект резкой резолюции, как с места вскакивал полицейский пристав и закрывал собрание, не дав ему дочитать до конца. Во время войны он стал было подводить на съезде статистику убитых и раненых на фронте, обронил слово «бойня» и очутился в Бутырках. Год назад, уже при Советской власти, он выступил в обществе врачей своей губернии с безоглядною, как всегда, речью против большевистских расстрелов. Чрезвычайка его арестовала и отправила в Москву с двумя спекулянтами и черносотенцем-генералом. По дороге Иван Ильич вспомнил молодость, как два раза бегал из сибирской ссылки, ночью на тихом ходу соскочил с поезда и скрылся. Друзья добыли ему фальшивый паспорт, и он, с большими приключениями, перебрался в Крым.

Бешено дул февральский норд-ост, потому Иван Ильич рубил дрова в сарае. Суетливо заглянула в сарай Анна Ивановна, с корзинкой в руке.

– Иван Ильич, я иду в потребилку, а Катя стирает белье. Брось рубить, пойдешь, заправь борщ. Возьми на полке ложку муки, размешай в полстакане воды, – холодной только, не горячей! – потом влей в борщ, дай раз вскипеть и поставь в духовку. Понял? Через полчаса будем обедать, как только ворочусь.

Она беспокойно заглянула в истомленное его лицо и поспешно пошла к калитке.

Иван Ильич направился в кухню, долго копался на полке в мешочках, размешал муку и поставил борщ на плиту. Вошла Катя с большим тазом выполосканного в море белья. Засученные по локоть тонкие девические руки были красны от холода, глаза упоенно блестели.

– Смотри, папа, как белье выстирала.

Иван Ильич со страхом глядел на закипавшую кастрюлю.

– Да, да! Очень хорошо... Погоди, как бы не убежало!..

– Да не убежит. Посмотри! – Она развернула перед ним простыню. – Как снег под солнцем! Подумать можно, жавелевой водой стирано! Ну, теперь могу сказать, умею стирать. Скажи же, – правда, хорошо?

– Ну, хорошо, конечно!

– Я нашла секрет, как стирать. И как мало мыла берет!

– Охота класть на это столько сил. Побелее, посерее, – не все равно!

– Ну, уж нет! Делать, так по-настоящему делать... Как снег у нас на горах! Ах, как интересно!.. Ну-у, как ты мало восхищаешься!

– Погоди! Закипело!

Он озабоченно снял кастрюлю с плиты и поставил в духовку. Катя с одушевлением говорила:

– Я тебе объясню, в чем дело. Совсем не нужно сразу стирать. Сначала нужно положить белье в холодную воду, чтоб вся засохшая грязь отмочла. Потом отжать, промылить хорошенько, налить водой и поставить кипеть...

– Ну, матушка, я этого не пойму... Нужно идти дрова рубить.

– И все, больше ничего! Немножко только протереть... Ужасно интересно! Пойду вешать.

Иван Ильич побрел в сарай, опять взялся за дрова. Движенья его были неуверенные, размах руки слабый. Расколел полено-другое, – и в изнеможении опустит топор, и тяжело дышит, полуоткрыв беззубый рот.

Донесся крик Кати:

– Папа, обедать! Мама пришла.

Иван Ильич взвалил на плечи вязанку дров и с бодрым видом вошел в кухню. Анна Ивановна сидела на табуретке с бессильно свисшими плечами, но при входе Ивана Ильича выпрямилась. Он свалил дрова в угол.

– Ну, что, достала керосину?

– Нету в потребилке. Даром только прошлась. И муки нету.

Катя поставила на стол борщ. Анна Ивановна подняла крышку, заглянула в кастрюлю и обомлела.

– Чего ты туда насыпал?

Иван Ильич обеспокоенно ответил:

– Как чего? Муки, как ты сказала.

– Ах, ты, боже мой! Так и есть!.. – Она зачерпнула борщ разливательной ложкой и раздраженно опустила ее назад. – Ты туда картофельной муки всыпал, получился кисель... Как ребенок малый, ничего нельзя ему доверить.

– Да что ты? Неужто картофельной? – Иван Ильич сконфузился.

– Как же ты не видел, что картофельная мука?

– Я вижу, белая мука, а какая, – кто ее знает! Ну, ничего! Ведь все питательные вещества остались. Дай-ка, попробую. Ну, вот. Очень даже вкусно.

Анна Ивановна, чтоб овладеть собою, стала раскладывать на плите дрова для просушки. Катя жадно ела и, откусывая хлеб, говорила:

– Хлеб-то зато какой вкусный! Настоящий пшеничный, и ешь, сколько хочешь. А помните, в Пожарске какой выдавали: по полфунта в день, с соломой, наполовину из конопляных жмыхов!

Поели постного борща и мерзлой, противно-сладкой вареной картошки без масла, потом стали пить чай, – отвар головок шиповника; пили без сахара. После несытной еды и тяжелой работы хотелось сладкого. Каждый старался показать, что пьет с удовольствием, но в теле было глухое раздражение и тоска.

Анна Ивановна обеспокоенно сказала:

– А Глухарь Тимофей опять не пришел крышу чинить. Третий раз обманывает, что же это будет, как дожди пойдут!..

Катя вдруг рассмеялась.

– Господа, помните прежние времена, как, бывало, все ужасались на жизнь студентов? Бедные студенты! Питаются только чаем и колбасой! Представьте себе ясно: настоящий китайский чай, сахар, как снег под морозным солнцем, французская булка румяная, розовые ломтики колбасы с белым шпиком... Бедные, бедные студенты!

Все рассмеялись. Уж очень, правда, смешно было вспомнить и сравнить. Стало весело, и раздражение ослабело. Катя, смакуя, продолжала:

– Или, помните, калоши студенческие? Тусклые потрескавшиеся, с маленькой только дырочкой на одной пятке! Вы подумайте: калоши! Домой не приносишь лепешек грязи, чулки сухие и только чуть мокро в одной пятке!.. Правда, бедные студенты?

Наружная дверь без стука открылась, вошла в кухню миловидная девушка в теплом платке, с нежным румянцем, чудесными, чистыми глазами и большим хищным ртом.

– Добрый день!

– А, Уляша!.. Садитесь, попейте чайку.

Девушка поставила на стол две бутылки молока, покраснела и села на табуретку. Иван Ильич, расхаживая по кухоньке, спросил:

– Ну, что хорошенького слышали про большевиков? Где они сейчас?

– Вы, чай, лучше знаете.

– Откуда же нам знать?

– Вчера почта из города проезжала, ямщик сказывал, – в Джанкое.

Иван Ильич захохотал.

– Ого! Быстро они у вас шагают!.. Что же, ждут их на деревне?

Уляша промолчала и с неопределенною улыбкою взглянула в угол.

– Большевиков-то у вас, должно быть, не мало.

– Кто ж их знает... – Она застенчиво улыбнулась и вдруг: – Да все большевики!

– Вот как?

– И папаша большевик, и все наши большевики.

– И вы тоже?

– Ну, да.

– А что такое большевизм?

– Сами знаете.

– Нет, не знаю. Каждый по-своему говорит.

– Представляетесь.

– Ну, все-таки, – что же такое большевизм?

Уляша помолчала.

– Дачи грабить.

– Что?!

– Дачи ваши грабить.

Иван Ильич громко захохотал на всю кухню.

– Точно и верно определила. Молодец Уляша!

Катя сказала:

– Вот, Уляша, вы говорите, что и вы большевичка. Что же, и вы пойдете, например, нас грабить?

– Все пойдут. Уж теперь сговариваются. Отказываться никому не позволят. А нам что ж свое терять?

– Почему же именно дачников грабить?

– Они богатые.

– А мужики у вас в деревне не богатые? Вон, Албантов осенью одного вина продал на сто двадцать тысяч. Сами же вы говорили, что у каждого мужика спрятано керенок на двадцать – тридцать тысяч. И все у них есть, всякая скотина. Где же нам, дачникам, до них?

– Нет, мужики не считаются богатыми.

– Да почему же? Вон, у вашего отца – две лошади, две коровы, гуси, свинья, десятка два барашков... Да вы бы дня, например, не стали есть так, как мы едим. Теперь только мужики у нас и богаты.

– Мы работаем. А дачники все лето на берегу лежат голые, да цветы по горам собирают.

Катя возмутилась. Она стала говорить об интеллигентном труде, о тяжести его. Потом стала объяснять, что большевики хотят лишить людей возможности эксплуатировать друг друга, для этого сделать достоянием трудящихся землю и орудия производства, а не то, чтоб одни грабили других.

Возмутился Иван Ильич и напал на Катю.

– Это ты о социализме говоришь, а не о большевизме. Зачем ты тогда уехала из Совдепии?.. Нет, Уляша, большевизм именно в том, как вы говорите: грабь, хватай, что увидишь, не упускай своего! Брось работать и бездельничай. И только о себе самом думай.

Уляша выпила чай, сказала «спасибо» и встала.

– Папаша велел сказать, что с завтрашнего дня молоко по три рубля кварта.

Анна Ивановна всплеснула руками.

– Да что ты, Уляша, говоришь! Было полтора и вдруг три рубля, вдвое дороже!

– И потом больше не велел вам носить, сами ходите. Много, говорит, время уходит.

Иван Ильич решительно сказал:

– Ну, нечего тогда разговаривать. Столько платить не можем. Не надо. Пейте сами.

Глаза Уляши стали серьезными, она значительно ответила:

– Мы сейчас молока не пьем: великий пост.

Иван Ильич захохотал.

– Молоко пить нельзя, а людей грабить можно! Нет, Уляша, вы просто прелесть!

– В город будем возить сметану, творог.

– Ну, и возите себе.

Уляша застенчиво улыбнулась, покраснела и сказала:

– До свиданья вам!

– До свиданья.

Катя протянула печально:

– Значит, и без молока!

Иван Ильич сердито накинулся на нее:

– Я не понимаю, с чего ты вдруг вздумала защищать пред нею большевизм. Удивительно своевременно!

– Пусть же она знает, что такое большевизм в идее.

– «В идее!..» Чрезвычайки, расстрелы, разжигание самых хамских инстинктов – и идея!

Они стали спорить, сердясь и раздражаясь. Иван Ильич махнул рукою и ушел в спальню.

Лег на постель и стал читать газету. В обычном старом стиле сообщалось о доблестных добровольческих частях, что они, «исполняя заранее намеченный план», отступили на восемьдесят верст назад; приводилось интервью с главноначальствующим Крыма, что Крыму большевистская опасность безусловно не грозит; сообщалось, что Троцкий убит возмущившимися войсками, что по всей России идут крестьянские восстания, что в Кремле всегда стоит наготове аэроплан для бегства Ленина. Ничему этому не верилось, но все-таки приятно было читать.

Из деревни за Иваном Ильичом приехал на линейке красавец-болгарин: жена его только что родила к истекает кровью. Иван Ильич поехал. У роженицы задержался послед. Иван

Ильич остановил кровотечение, провозился часа полтора. На прощание болгарин, стыдливо улыбаясь, протянул Ивану Ильичу бумажку и сказал:

– Вот примите малость!

Домой Иван Ильич воротился в сумерках. Катя спросила:

– Сколько тебе заплатили?

Он усмехнулся.

– Вот какая хозяйственная стала! Все сейчас же о деньге!

– Нет, серьезно, – сколько?

Иван Ильич неохотно ответил:

– Три рубля.

Катя ахнула.

– А фунт хлеба стоит семьдесят пять копеек! Значит, четыре фунта хлеба, гривенник на прежние деньги! Да как же ему не совестно! Ведь это Албантовы, первые богачи в деревне, они осенью одного вина продали на сто двадцать тысяч. Как же ты его не пристыдил, что так врачу не платят?

Иван Ильич решительно и серьезно ответил:

– Этим не торгуют и об этом не торгуются. Оставим.

– Да, выгодно для них! Сами за бутылку молока полтора рубля берут, а доктору платят трешницу. Вот где настоящие эксплуататоры!

– Марфа, Марфа! О многом печешься! – вздохнул Иван Ильич и пошел к себе.

Начиналась самая трудная пора дня. Керосину не было, и освещались деревянным маслом: в чайном стакане с маслом плавал пробочный поплавок с фитильком. Получался свет, как от лампадки. Нельзя было ни читать, ни работать. Анна Ивановна вязала у стола, сдвинув брови и подняв на лоб очки. Когда-то она была революционеркой, но давно уже стала обыкновенной старушкой; остались от прежнего большие круглые очки, и то еще, что она не верила в бога. Иван Ильич медленно расхаживал по узкой спальне, кипит от вынужденного бездействия. В железной печке полыхали дровешки, от нее шел душный жар. По крыше шумел злобный норд-ост, море в бешенстве бросало на берег грохочущие волны. Катя убралась с посудой и ушла в бывшую коморку для прислуги за кухней, где она теперь жила зиму. Там, не жалея глаз, она села с книгой к своей коптилке.

Вечером пили в кухне чай. Снаружи в кухонную дверь постучались. Иван Ильич отпер.

– А-а, профессор!

Вошел профессор с женой, – знаменитый академик Дмитревский, плотный и высокий, с огромной головой. Его работы по физике были широко известны за границу. Несколько лет назад он открыл способ опреснения морской воды силою солнечной энергии и работал над удешевлением этого способа. Но все сложные аппараты остались в России, а он второй год проживал на своей крымской даче, паял мужикам посуду и готовил для потребиловки жестяные коптилки. Кроме того, впрочем, два раза в неделю ездил в город и читал в народном университете лекции по физике. Среди рабочих они пользовались большою популярностью.

Сочным, жизнерадостным голосом, наполнившим всю кухню, профессор сказал:

– Ну, погодка! Еле дошли до вас. Ветер еще сильнее стал, с ног сшибает. Мокреть какая-то падает и сейчас же замерзает... Gruss aus Russland!¹

Он счищал ледяшки с седой бороды и усов. Профессорша скорбно вздохнула.

– Да, Gruss aus Russland! Так и представляется: холод, все жмутся в дымных, закопченных комнатах, грызут хлеб с соломой и ждут обысков.

Катя сняла со стола самовар и поставила на пол к печке.

¹ Привет из России! (нем.)

– Садитесь, сейчас самовар подогрею.

– Не надо, мы уж пили.

– Все равно, мне нужен кипяток, отруби заварить для поросенка.

Профессорша села на табуретку возле плиты.

– А у меня горе какое, Анна Ивановна! Весь день сегодня плакала... Представьте себе, любимое мое кольцо с бриллиантом, свадебный подарок мужа, – пропало сегодня.

– Что вы говорите, Наталья Сергеевна? Ведь вы же его никогда с пальца не снимали!

– Да... Так странно! – Наталья Сергеевна машинально оглянулась и понизила голос. – Вы знаете княгиню Андожскую?

– Это, что у Бубликова живет, красавица такая?

– Да. Ее мужа, морского офицера, во время революции матросы сожгли в топке пароходного котла, все их имения конфискованы. Живет она с маленькой дочкой и старухой матерью у Бубликова, все, что было, распродала, он ее гонит из комнаты, что не платит. Ужасно несчастная. Так вот пришла она сегодня утром к нам, я тесто месила. Увидела кольцо и пришла в восторг. «Как, – говорит, – можно с ним тесто месить! Ведь пачкается кольцо, портится!» – «Боюсь, – говорю, – потерять, очень дорого мне это кольцо». Ну, все-таки убедила меня, сняла я и положила на туалет. Через четверть часа она ушла, а после обеда хватилась я кольца – нету. Весь туалет обыскали, все отодвигали, – нету. Когда княгиня была, муж в столовой мыл пол, он видел, что княгиня подошла к туалету и странно как-то стояла... Только вы, пожалуйста, никому этого не говорите! – испугалась Наталья Сергеевна.

– Может быть, кто другой взял?

– Никого решительно не было больше. Я ей написала письмо, завтра утром пошлю. Уж не знаю... Пишу: вы для шутки взяли мое кольцо, чтоб напугать меня, зная, как оно мне дорого. Пошутили, и будет. Будьте добры прислать назад.

Катя взволнованно воскликнула:

– Да нет, это не может быть! Такая изящная на вид, отпечаток такой глубокой аристократической культуры!

– Тяжелое происшествие! – поморщился профессор.

– Господи, как мы все зачествели! Ясно, погибает с голоду человек!

Наталья Сергеевна сочувственно вздохнула и, занятая своими заботами, продолжала:

– А вы слышали, у Агаповых вчера ночью выбили стекла. У священника на днях кухню подожгли. Чуют мужики, что большевики близко... Господи, что же это будет! Так я боюсь, так боюсь! Двое мы на даче с мужем, одни, он старик. Делай с нами, что хочешь.

Катя нетерпеливо закусила губу и стала подкладывать в самовар угля. Она не выносила этого ноющего, тревожного тона профессорши, с вечными страхами за будущее, с нежеланием скрывать от других свои горести и опасения. Разве теперь можно так?

Профессор обратился к Ивану Ильичу:

– Заметили вы, как деревня опустела? Вся молодежь ушла в горы. Это ответ деревни на мобилизацию краевого правительства. Ни один не явился. Говорят, пришлют чеченцев из дикой дивизии для экзекуции, решено прибегнуть к самым суровым мерам.

Иван Ильич захохотал.

– Это – добровольческая армия!

– Да-а... Дело с каждым днем усложняется. Говорят, на днях в деревне были большевистские агитаторы, собрали сход и объявили, чтобы никто не являлся на призыв, что красные войска уже подходят к Перекопу и через две недели будут здесь. А в городе я вчера слышал, когда на лекцию ездил: пароходные команды в Феодосии бастуют, требуют власти советам; в Севастополе портовые рабочие отказались разгружать грузы, предназначенные для добровольческой армии, и вынесли резолюцию, что нужно не ждать прихода большевиков, а самим начать борьбу. Агитаторы так везде и кишат.

Анна Ивановна взволнованно сказала:

– Ведь ждали, в Феодосии должен был высадиться греческий десант!

– Да, но высадился он в Константинополе. Там революция, правительство бежало.

– Господи, что это творится в мире! – с отчаянием сказала Наталья Сергеевна. – Неужели союзники бросят нас на произвол! Говорят, французы оставили Одессу... Я все об одном думаю: придут большевики в Крым, – что тогда будет с Митей?

Иван Ильич расхаживал по кухонке. Он угрюмо сказал:

– Охота ему была идти в добровольцы!

– Так ведь вы же знаете его: человек совершенно аполитический. Ему бы только сидеть в кабинете со своими греческими книгами, на уме у него только элевсинские мистерии, кабирь какие-то. Объявили призыв, – что же мне, говорит, – скрываться, жить нелегально? Я на это неспособен.

У Кати стало неестественное лицо, когда Наталья Сергеевна заговорила о сыне. Она равнодушно спросила:

– Давно он вам не писал?

– Давно. И все в боях. Так за него сердце болит!

Сильный стук раздался в кухню. Блеснули золотые погоны, молодой голос оживленно сказал:

– Мир вам! Здравствуйте! Папа и мама не у вас?

– Митя!!

Все вскочили и бросились навстречу.

Бритый, с тонким и обветренным лицом, с улыбающимися про себя губами, Дмитрий сидел за столом, жадно ел и пил, и рассказывал, с жадной радостью оглядывая всех.

Их полк отвели на отдых в Джанкой, он обогнал свой эшелон и приехал, завтра обязательно нужно ехать назад. Он останавливал взгляд на Кате и быстро отводил его. Наталья Сергеевна сидела рядом и с ненасытной любовью смотрела на него.

– Ну, что у вас там, как? Рассказывай.

– А вы знаете, оказывается, у вас тут в тылу работают «товарищи». Сейчас, когда я к вам ехал, погоня была. Контрразведка накрыла шайку в одной даче на Кадыкое. Съезд какой-то подпольный. И двое совсем мимо меня пробежали через дорогу в горы. Я вовремя не догадался. Только когда наших увидел из-за поворота, понял. Все-таки пару пуль послал им вдогонку, одного товарища, кажется, задел – дольше побежал, припадая на ногу.

Катя приглядывалась к Дмитрию. Что-то в кем появилось новое: он загрубел, движения стали резче и развязнее, и он так просто рассказывал о своем участии в этой охоте на людей.

Иван Ильич засмеялся.

– Ого, какой вояка стал!

Профессор поспешно спросил:

– Как дела у вас в армии?

– Знаешь, папа, смешно, но это так: мы там меньше знаем, чем вы здесь.

– Нет, я не про то. Какое в армии политическое настроение? За что вы, собственно, сражаетесь?

Дмитрий неохотно ответил:

– Розно. Есть части, совершенно черносотенные, только о том и мечтают, чтобы воротить старое – например, сводно-гвардейский полк, высший командный состав. Но офицерская молодежь, особенно некадровая, почти сплошь за учредительное собрание.

Иван Ильич захохотал своим раскатистым смехом.

– И вы верите, что вас не проведут на мякине, как наивных воробушков?

Дмитрий слабо и виновато улыбнулся. Катя размешивала деревянной ложкой заваренные кипятком отруби. Он спросил:

- Что это вы, Катя, мастерите?
- Месиво для поросенка. Сейчас пойду кормить. – Она надела пальто, повязалась платком.
- Хотите посмотреть поросенка моего?
- Пойдемте! Давайте, я миску понесу... Мама, мы сейчас.
- Только оденься, холодно.

Ветер шумно пронесся сквозь дикие оливы вдоль проволочной ограды и бешено бил в стену дачи. Над морем поднимался печальный, ущербный месяц. Земля была в ледяной коре, и из блестящей этой коры торчали темные былки прошлогодней травы.

Катя с Дмитрием зашли по ту сторону дачи. Под лестницею на мезонин был чуланчик, из него несло взволнованное хрюканье и повизгивание.

– Давайте миску. – Катя отперла дверь и исчезла с мискою в темноте чулана. Послышался ее смеющийся голос: – погоди, дурачок!.. Ах, ты, господи! Миску опрокинешь!.. Пошел прочь! Ну, ешь!

Она вышла из чулана. Дмитрий протянул ей обе руки.

– Ну, Катя, здравствуйте!

И крепко пожимал ей руки, и смотрел в похорошевшее лицо.

– Рассказывайте, Катя, как вы тут живете.

– Как живу. Я всегда хорошо живу. Может, надоест, а сейчас очень интересно все. Вот поросенок этот, – сколько нового, неожиданного, я и не думала, что свиньи такие умные. Наседка уж сидит на яйцах. В стирке я нашла новый способ. И еще очень интересно в кухне готовить. Вы знаете, – если слушать, у всех вещей свои голоса. Каждая кастрюля на плите, каждая сковорода имеет свой звук. Я, не глядя, слышу, когда закипает молоко, когда каша густеет. Очень интересно в этом шипенье и клокотанье ловить чуть слышные живые голоса. И новые кушанья выдумывать. Не видишь времени. Дни, как стрелки: проносятся – жжик, и падают.

Дмитрий смотрел на нее говорящими глазами и улыбался.

– Смотрю я на вас, и мне вспоминается Паскаль. Он говорит, что мысль наша всегда обращена к прошедшему и будущему, а о настоящем мы никогда не думаем, и поэтому никогда не живем, – только все надеемся жить... А вот вы это умеете, – из всего извлекать настоящее. Как это редко!

– Ну, Дмитрий, это все пустяки. Расскажите про себя. Правду. Что у вас?

– Что у нас... Катя, так скверно, так скверно, что хуже и нельзя! Нигде никаких решительно корней, народ относится к нам враждебно, весь пропитан большевистской злобой, совершенно одичал, звериные стали глаза и звериные алчные лапы, – только рвать, забирать себе все, что увидят. И сам тоже звереешь. Кругом кровь, грязь без конца. И в каком-то далеком прошлом представляется, – лампа с зеленым абажуром, Эсхил, Гераклит, несравненный мой Эрвин Роде, Виламовиц. И кажется, – никогда уже, никогда это никому не будет нужно. Происходит новое нашествие варваров. Ведь, по существу, это война против культуры, против всех высших духовных ценностей. Вместо науки публицистика «Правды», вместо поэзии – Демьян Бедный, вместо живописи толстопузые попы и звероподобные генералы на плакатах.

– Дмитрий, нельзя так. Это же временное.

– Временное? А культура гибнет, кругом всё разрушают, жгут, разваливают. Что мне до того, что в свое время пришло Возрождение? А Венера-то Милосская – без рук, фидиевы скульптуры безголовые, от Архилоха, Сафо, Гераклита остались одни клочья. А главное, и в народ я теперь потерял всякую веру. Теперь он открыл свой подлинный лик, – тупой, алчный, жестокий. Какой беспросветный душевный цинизм, какая безустойность! В самое дорогое, в самое для него заветное наплевали в лицо, – в бога его! А он заломил козырек, посвистывает и лущит семечки. Что теперь когда-нибудь скажут его душе Рублев, Васнецов, Нестеров?

Растрепанные тучи мчались по небу, бесшумные и стремительные. Ветер, как взбесившаяся хищная птица, налетал из-за угла, толкал обоих в спину и начинал яростно трепать оледенелые ветки акаций и тополей.

– Холодно вам, Дмитрий? А правда, не хочется уходить?

– Ничего, пусть холодно.

– Вот что. Пойдем на террасу. Она на юг, там тихо.

Стульев не было на террасе, был только большой садовый стол. На столе кучами лежала мерзлая земля, черепки разбитых садовых горшков, путаная мочала. Шум ветра был меньше слышен, но зато море грохотало. Под студено-зеленоватым лунным светом белые водяные горы вырастали, казалось, перед самой террасой и вдруг проваливались куда-то.

– Дмитрий, зачем вы все-таки идете вместе с ними? Неужели вы не чувствуете, за что борются ваши?

Дмитрий озлобленно ответил:

– За что бы ни боролись! С кем угодно, только против этих мерзавцев!.. Ох, Катя, вы их тут не знаете, в своем далеке. Если бы увидели своими глазами, – прокляли бы жизнь, прокляли бы все на свете... – Он взволнованно замолчал. – Я никому не хотел рассказывать, – ну, вам расскажу. Только не говорите никому. Я тут привез Агаповым кой-какие вещички их убитого сына Марка. Он убит, да. Но как... Под Татаркой был у нас бой. Впереди матросы шли на нас, в кожаных куртках, – сомкнутой колонной, по германскому образцу. Нужно отдать справедливость, – как львы, шли под пулеметным огнем. К вечеру разбили нас и погнали. Ротный наш командир упал с простреленной ногою, махнул нам рукой и устроил себе смерть под музыку.

– Это что такое?

– Ручную гранату под голову, дернуть капсюль и трах!.. Это у нас называется смерть под музыку. Чтоб живым не попасться в их руки... Рассеялись мы во все стороны. Едет в тачанке мужчина мещанистого вида. Револьвер ему ко лбу, снял с него пиджак, брюки, переделся и побежал балкою.

Катя вздрогнула.

– Вот вы еще чем можете возмущаться! – улыбнулся Дмитрий. – Вижу, тащится Марк, на руке несет другую свою руку, раздробленную в локте. Повел его. Уж ночь. Вдали лай собак, огни. Осторожно подходим, вдруг: «Стой! Кто идет?» Взяли нас, повели. Железнодорожный полустанок, весь зал набит матросами. Огромный, толстый матрос, – я бы под мышку подошел ему, подходит ко мне: «Кто такой?» – Мещанин, говорю, мелитопольский. Вижу, раненый человек, повел его, не знаю, кто таков. – «А-а, – говорит, – ваше благородие!» Развернулся и кулаком Марка в ухо.

– Раненого?

– Раненого. Пошел он летать под кулаками и пинками по всему залу. Перебитая рука мотается, вопль, – понимаете, животный вопль зверя, которого забивают насмерть...

Катя глухо застонала.

– Не надо!

Дмитрий беспощадно продолжал:

– Скоро замолк, а тело все летает из конца в конец. Тяжелыми сапогами с размаху в лицо, хохот, грубые шуточки... Толстый ко мне: «Ну-ка, товарищ, пойди сюда!» Руку мне за пазуху. Нащупал во внутреннем кармане жилетки бумажник, вытаскивает. А там удостоверение мое, – поручик Дмитревский. Развернулся наотмашь, и дальше я ничего не помню... Очнулся в комнатке кассира, в окошечко билетной кассы из зала свет. Лежит рядом Марк с раздутым, черным лицом, со стеклянными глазами, уж не дышит. Ощупываю себя. Тело ноет, но кости целы. Вдали выстрелы, все ближе. Пулемет затрещал, звенят разбитые стекла. Суматоха, матросы попадали на пол. – «Это недоразумение! Свои!» Комиссар к телефону. Вдруг – «ура!» Нет, не

«свои»... Граната ручная в залу, матросы поскакали в окна, выстрелы, лампа упала и потухла. Открывается дверь, входят двое в нашу комнатку, один нажал кнопку электрического фонарика карманного, свет упал на его рукав, – череп с перекрещенными мечами. Марковцы!.. Я хотел крикнуть, и только мог застонать. Они назад. – «Господа! Тут еще товарищи!» Я собрал все силы, крикнул: «свои! свои!» И опять потерял сознание.

Он замолчал. Катя вздрагивала короткими толчками всего тела.

Ветер завыл и с шумом пронесся поверху. Чудовищные волны лезли на берег, шипели пеною, разбивались с гулким, металлическим звоном и, задохнувшись, ползли назад.

– И вот теперь, Катя, подумайте...

– Не надо говорить... – Катя блуждала вокруг глазами. – Что это за звон кругом? Такой нежный-нежный?

Дмитрий с недоумением смотрел на нее.

– Я не слышу. Море гудит.

Катя настойчиво сказала.

– Нет, другой какой-то звон. Стекланный, особенный.

– А ведь правда.

– Ах, вот что! Это ветки оледенелые звенят... Как странно!

Они подошли к перилам. Ледяшки, облепившие ветки акаций, стукались под ветром друг о друга, и мелодический, тихий, хрустальный звон стоял в воздухе, независимый от медного рева моря.

– Пойдем, – сказала Катя.

Они пошли. За домом рев моря стал глуше, и яснее раздавался по всему саду таинственный, нежный хрустальный звон.

Катя остановилась.

– Дмитрий! – Она, задыхаясь, смотрела на него. – Митя! Милый мой! Так вот что тебе приходится там...

Она вдруг охватила его шею руками и крепко поцеловала.

– Катя!

Девушка припала к его плечу, он заглядывал в ее румяное от холода, небывало-прекрасное лицо и целовал в губы, в глаза.

Катя, спеша, развешивала по веревкам между деревьями сверкающее белизною рваное белье. С запада дул теплый, сухой ветер; земля, голые ветки кустов, деревьев, все было мокро, черно, и сверкало под солнцем. Только в углах тускло поблескивала еще ледяная кора, сдавлившая у корня бурые былки.

Пришел, наконец, штукатур Тимофей Глухарь с сыном Мишкой. Иван Ильич сговорился с ним.

– Ладно, пятьдесят рублей. Только уж хорошенько все замажьте, перемените, где нужно, черепицы. Года два, говорите, простоит крыша?

– И пять простоит, ручаюсь вам... Где известка? Мишка, пойдём.

Они замешивали известку. Иван Ильич спросил:

– Вы, говорят, большевик?

Тимофей поспешно ответил:

– Какой я большевик, что вы! Хулиганье это, мошенники, – слава богу, нагляделись на них.

– А ведь вы были в революционном комитете при первом большевизме.

– Заставили идти, что ж было делать? Не пошел бы – на мушку. А мне своя жизнь дорога.

Иван Ильич обрадовался и стал рассказывать о большевистских зверствах в России, о карательных экспедициях в деревнях, о подавлении свободы мысли среди рабочих, о падении производительности труда, о всеобщем бездельничестве.

Глухарь поддакивал.

– Это действительно! Да, конечно! Разве наш народ на всех станет работать! Каждый только и норовит для себя урвать.

Парень Мишка с неопределенною усмешкой слушал.

Катя развесила белье и поспешила к Дмитриевским.

Профессорша пекла на дорогу Дмитрию коржики, профессор в кабинете готовился к лекции.

– А где Дмитрий?

– Дрова колет в сарае, сейчас придет. – Наталья Сергеевна почему-то сильно волновалась. – А вы знаете, мы вчера с Митей засиделись до пяти часов утра.

В дверь постучались. Срывающийся женский голос спросил:

– Можно войти?

Наталья Сергеевна побледнела.

– Княгиня. Вы знаете, я ей утром письмо таки послала. Ах, боже мой!.. Можно, можно!

Растерянно улыбаясь, она суетливо пошла к двери. Княгиня вошла, – с огромными, широко открытыми глазами, с неулыбающимся лицом.

– Наталья Сергеевна! Я сейчас получила ваше странное письмо... Как вам это могло прийти в голову? Да разве бы я позволила себе так шутить с вами?.. Хорошо ли вы везде искали?

– Кажется, все переглядела.

– Ведь вы, я помню, на туалет кольцо положили. Отодвигали вы туалет?

Наталья Сергеевна поспешно ответила:

– Нет.

– Позвольте, я посмотрю.

Княгиня стала отодвигать туалет. Наталья Сергеевна продолжала сидеть на месте.

– Ну, так и есть! Вот же оно! У плинтуса лежало, среди сора.

Она поднялась и протянула кольцо.

– Ах, так вот, где было... Да. Да.

Наталья Сергеевна взяла кольцо, избегая смотреть княгине в глаза. И та тоже не смотрела. И говорила облегченно:

– Ну вот! Слава богу! Я так рада... И как вы могли подумать, что я стала бы с вами так шутить. Не хватало бы, чтобы вы меня в краже заподозрили! – весело засмеялась она.

– Что вы, княгиня! – всполошилась Наталья Сергеевна.

Княгиня посидела немножко и ушла. Из кабинета вышел профессор и остановился на пороге. Молчали. Катя спросила:

– А вы смотрели за туалетом?

Наталья Сергеевна заговорщицки ответила:

– Все, все пересмотрела! Несколько раз отодвигала. И сору-то там никакого уж не было, я все вымела. А она так сразу и нашла!

Профессор поморщился и пошел обратно к себе в кабинет. Вошел с террасы Дмитрий.

– Ну, мама, дров наколот тебе на целый месяц. А-а, Катя!.. Мама, мы сейчас пройдемся, мне нужно отнести Агаповым вещи Марка.

– Скорей только возвращайтесь. Через полчаса завтрак будет готов.

Катя с Дмитрием вышли. Дмитрий сказал:

– Забыл я топор в дровяном сарае. Зайдем, я возьму.

В сарае Дмитрий обнял Катю и стал крепко целовать. Она стыдливо выпросталась и умоляюще сказала:

– Не надо!

– Ну, Катя...

– Вот сколько ты дров наколот!.. Где же топор?

– Э, топор! Его вовсе тут и нету.

Дмитрий крепко сжимал Кате руки и светлыми глазами смотрел на нее. Она сверкнула, быстро поцеловала его и решительно двинулась к выходу.

– Пойдем!

Они пошли вдоль пляжа. Зелено-голубые волны с набегающим шумом падали на песок, солнце, солнце было везде, земля быстро обсыхала, и теплый золотой ветер ласкал щеки.

Катя просунула руку под локоть Дмитрия и сказала:

– Вот что, Митя! Что ты вчера рассказал про себя, про Марка, – это что-то такое огромное, – как будто все эти горы вдруг сдвинулись с места и несутся на нас. Я всю ночь думала. Это и есть настоящая война. Если люди могут друг друга убивать, все жечь, разрушать снарядами, то пред чем можно тут остановиться? Так уж много нарушено, что остальное пустяки. А когда идут рыцарства и всякие красные кресты, это значит, что такие войны изжили себя и что люди сражаются за ненужное. И знаешь, мне начинает казаться: когда победитель бережно перевязывает врагу раны, которые сам же нанес, – это еще ужаснее, глупее и позорнее, чем добить его, потому что как же он тогда мог колоть, рубить живого человека? Настоящая война может быть только в злобе и ненависти, а тогда все понятно и оправдательно.

Дмитрий слушал с серьезным лицом, с улыбающимися для себя тонкими губами.

– Это оригинально.

– Нет, это правда. И вот, Митя... Те матросы, – они били, но знали, что и их будут бить и расстреливать. У них есть злоба, какая нужна для такой войны. Они убеждены, что вы – «наемники буржуазии» и сражаетесь за то, чтобы оставались генералы и господа. А ты, Митя, – скажи мне по-настоящему: из-за чего ты идешь на все эти ужасы и жестокости? Неужели только потому, что они такие дикие?

В глазах Дмитрия мелькнули страдание и растерянность, как всегда при таких разговорах.

– Это, Катя, сложный вопрос.

– Ничего не сложный.

Дмитрий украдкой оглянулся, поднес Катину руку к губам и шепотом сказал:

– Зачем, зачем теперь об этом говорить? Катя! Так у нас мало времени, давай забудем обо всем. Когда мы опять свидимся! А мы будем ворошить то, чего все равно не изменить... Вот дача Агаповых. Зайдем.

– Я с какой стати? Не хочу я к ним. Я тебя здесь подожду.

– Ну, хорошо. Только отдам, и сейчас.

Он ушел. Садовник вскапывал клумбы у широкой террасы. Маленькая, сухая Гуриенко-Домашевская стояла у калитки своей виллы и сердито кричала на человека, сидевшего на скамеечке у пляжа.

– Пьянчужка несчастный! Тут тебе не кабак! Думаешь, большевики близко, так и нахальничаешь! Подожди, пока твои большевики подойдут!

Человек на скамейке отругивался. Катя узнала пьяницу столяра Капралова, сторожа Мурзановской дачи. Гуриенко ушла. Катя подошла к нему.

– Чего это она?

– Хе-хе! Ч-чертово окно! Пошел, говорит, прочь отсюда, мужик! Не смей тут петь, мне беспокойство!.. Да разве я у тебя? Я на бережку сажу, никого не трогаю... Какая язвенная! Сажу вот и пою!..

Мой полштоф в кармане светит,
Рюмки гаснут на носу,
Ночью нас никто не встретит,
Мы проспимся на мосту...

Ты, говорит, большевик! Нет, говорю, я не большевик. А все-таки, когда большевики придут, – ей-богу, голову тебе проломлю!

– А вы не большевик?

– Нет, не большевик! Когда в летошнем году экономию Бреверна разносили, я им прямо объяснил: то ли вы большевики, то ли жулики, – неизвестно. Тащит каждый, что попало, – кто плуг, кто кабанчика; зеркала бьют. Это, я говорю, народное достояние, разве так можно? Вот дайте мне бутылочку винца, – очень опохмелиться хочется. «Ишь, – говорят, – какой смирный!» Да-а... А вы что такое делаете? За это они меня теперь ненавидют... Жизнь разломали, – как ее теперь налаживать? И с той, и с другой стороны идет русский народ. Братское дело! Брат на брата, товарищ на товарища!

Глаза у него были умные и серьезные, тою интеллигентною серьезностью, при которой странно звучало: «каждый» и «в летошнем году». Катя из глубины души сказала:

– Ах, Капралов, зачем вы пьете!

– Гм! Как пью, – все видят. А как работаю – никто не замечает!

– Катерина Ивановна!

К ним бежала от дачи Ася Агапова.

– Катерина Ивановна! Мы арестовали Дмитрия Николаевича, не выпускаем его, пока не выпьет кофе. А он рвется к вам, совесть его мучит, и кофе останавливается в горле. Сжальтесь над ним, зайдите к нам!

Была она хорошенькая и вся сверкала, – глазами, улыбкою, открытою шейкою. Катя увидела, что не отделаешься, и встала. Капралов, когда она с ним просталась, придержал ее руку.

– А только все-таки имейте в виду: будет народное одоление. Все равно, как мошкара поперла. Нет сильнее мошки, потому, – ее много. А буржуазии горстка. И никогда ей теперь не одолеть. Проснулся народ и больше не заснет.

У Агаповых было чисто, уютно и тепло, паркет блестел. На белой скатерти ароматно дымился сверкающий кофейник, стояло сливочное масло, сыр, сардинки, коньяк. Деревенский слесарь Гребенкин вставлял стекла в разбитые окна.

Катя со всеми поздоровалась, подошла и к Гребенкину, протянула ему руку.

– Александр Васильевич, вы разве и стекольщик? Ведь вы же слесарь?

Гребенкин, с впалую грудью, исподлобья взглянул обрадованными глазами и развязным от стеснения голосом ответил:

– Я на все руки мастер: и слесарь, и стекольщик, и огородник, и спекулянт.

– Екатерина Ивановна, садитесь кофе пить, – позвала г-жа Агапова.

Катя почувствовала, – всем стало враждебно-смешно, что она поздоровалась с Гребенкиным за руку.

Г-жа Агапова рассказывала Дмитрию, как ночью кто-то выбил у них на даче стекла, как ограбили по соседству богатого помещика Бреверна.

– До чего дошло! До чего дошло! А как мы все радовались революции! Я сама ходила в феврале с красным бантом...

Муж ее, невысокий, с остриженной под машинку головою и коротко подрезанными усами, курил сигару и ласково улыбался.

– Ну, что же, ну, говорите нам прямо: как у вас дела в армии? допрашивала Агапова. – Сумеете вы нас защитить или нет?

Дмитрий посмеивался.

– Сумеет!

Чахоточный адвокат Мириманов, – у него была в поселке дачка, и он по праздникам наезжал из города отдохнуть, – покосился на стекольника и знающим голосом тихо сказал:

– Скоро уж не будет надобности вас защищать.

– Почему?

Мириманов посмеивался своими умными глазами.

– Скоро все так переменится, что вы даже не ожидаете. – Он помолчал. Ленин уже два месяца ведет тайные переговоры с великим князем Борисом Владимировичем. Будет инсценирован государственный переворот. Идеиные вожаки большевизма заблаговременно исчезнут, а всех скомпрометированных прохвостов оставят на расправу, чтобы окружить большевизм мученическим ореолом и уйти с честью. Ленин, Троцкий и другие получают пожизненную пенсию по пятьдесят тысяч рублей золотом и обязуются уехать в Америку.

– Дай-то бог! – вздохнула Агапова. – Там с ними уж легче будет управиться.

Борис, племянник Мириманова, шушукался с Асей. Лицо у него было бледное, а глаза томные и странно-красивые. Барышни Агаповы сверкали тем особенным оживлением, какое бывает у девушек только в присутствии молодых мужчин. Они изящно были одеты, и красивые девические шеи белели в вырезах платьев. Глаза их, когда случайно останавливались на Кате, вдруг гасли и становились тайно-скучающими и маловидящими.

Катя решительно отказалась от кофе, – потому что она была голодна, потому что ей очень хотелось всего этого вкусного после мерзлой картошки и чаю из шиповника. Дмитрий сидел с Майей, сестрой Аси, они с увлечением говорили о несравненной красоте православного богослужения. Майя смотрела медленными, задумчивыми глазами Магдалины, под взглядом которых так хорошо говорится.

Ася села за рояль и стала петь. Все песни ее были какие-то особенные, тайно-дразнящие и волнующие. Пела об ягуаровых пледах и упоительно мчащихся авто, о лиловом негре из Сан-Франциско, о какой-то мадам Люлю, о сладких тайнах, скрытых в ласковом угаре шуршащего шелка, и обжигающе-призывает был припев:

Мадам Люлю,

Я вас люблю!

Ей шепчут страстно и знойно...

Остро вспыхивали брильянты в серьгах Аси. И была дурманящая, сладострастно-ластящая красота в ее песнях. И только мешал шум стекольника и его чахоточный, как будто намеренно-громкий кашель.

И сверкало солнце. И мягко качались за окнами малахитово-зеленые волны. На Катю музыка всегда действовала странно: охватывало сладкое, безвольное безумие, и душа опьяненно качалась на колдовских волнах, без сил и без желания бороться с ними.

Подошел Дмитрий. От него слегка пахло дорогим коньяком. Он сказал извиняющимся голосом:

– Пять минут еще посидим и уйдем. Знаешь, после бивачной жизни так приятна эта чистота, блеск, эти оживленные лица...

Старик Агапов тоже подошел.

– Странно, знаете, слушать... Девочка, с ее чистой душой, совсем сама не понимает, что поет. Вон, послушайте-ка!

И, благодушно улыбаясь, он потирал руки.

Ах где же вы, мой маленький креольчик,

Мой смуглый принц с Антильских островов.
Мой маленький китайский колокольчик,
Изящный, как духи, как песенка без слов?
Такой беспомощный, как дикий одуванчик...

Гребенкин прервал пение намеренно-громким, ни с чем не считающимся голосом:

– Хозяин, эти стекла коротки, – наставить кусок, или есть у вас стекла побольше?

Агапов, мягко улыбаясь, подошел к нему.

– Нет, побольше нету. Уж наставьте, ничего не поделаешь.

Потом, как-то странно нараспев, читал стихи Борис, племянник Мириманова. И стихи все были такие же, говорившие о легком, бездумном веселье, праздной и богатой жизни, утонченно-сладострастном соприкосновении мужчин и женщин.

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском,
Я трагедию жизни претворю в грезе-фарс.
Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском!..

Голос красиво и гибко пел, и баюкал на мелодических стихах. Катя вдруг отдала себе отчет, почему у этого Бориса глаза так странно-красивы и томны: они были искусно подведены снизу тонкою черною черточкой.

Катя с Дмитрием уходили. Барышни убеждали его отложить отъезд до завтра.

– Нынче именины Гуриенко-Домашевской, вечером все будут у нее. Она будет играть; Белозеров, наверно, придет, будет петь.

– Нельзя. Сегодня вечером должен быть в полку.

Они вышли. Катя жадно дышала морским ветром, с души смывалась колдовская красота баюкающей музыки. Она вздрагивала плечами и повторяла:

– Какая гадость! Какая гадость!

Дмитрий удивленно спросил:

– Что гадость?

– Все! Все! Почему гниль может быть такой красивой и душистой? Как будто парфюмерный магазин, где все дорогие духи разбились и пролились, и кружится голова, и не хочется уходить, и вдруг – солнце, ветер, простор... Ах, как хорошо!

Дмитрий слушал с улыбающимися про себя губами. В голове приятно кружилось от коньяку, сверкали пред глазами зовущие девичьи улыбки, было сладкое ощущение покоя и уюта.

– И за них-то вот бороться! Как она спрашивала: «сумеете вы нас защитить?» А тебе не хочется, когда ты смотришь на них, чтоб все это взлетело к черту, чтоб развалилась эта ароматно-гнилая жизнь?

Дмитрию хотелось закрыть душу от рвавшегося в нее из Кати буйно-злобного вихря, и не чувствовалось способности защищать эту жизнь, к которой, однако, в нем не было ненависти. Он взял в руки Катину руку и устало улыбнулся:

– Катя! Мне так ничего не хочется! Так не хочется! Одного только хочется: чтоб был мне какой-нибудь тихий уголок, чтоб никто не тревожил, и чтоб переводить Прокла.

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...

Не пожелал бы я никому этого блаженства!

– Неужели же тебе не интересно сейчас жить?

– Совсем не интересно. Гораздо интереснее было бы изучать все это, как давно минувшее. Катя впиалась в него пристальным, изучающим взглядом, от которого ему стало неловко.

– За что я полюбила тебя? – спросила она, как будто саму себя. И вдруг увидела его бесконечно-усталое лицо, умный, прекрасно сформированный лоб, что-то детски-беспомощное во всей фигуре, – и горячий, матерински-нежный огонек вспыхнул в душе.

Они шли, тесно под руку, по песку вдоль накатывавшихся волн. Дмитрий, с раскрывшейся душой, говорил:

– ...какая-то полная атрофия активности. Там, где нужно мыслить, изучать, искать, у меня энергия неистощимая. Но где в жизни хоть шаг нужно сделать самостоятельный, меня отчаяние охватывает, и сама жизнь становится скучной, грубой и темной...

– Что же это такое?

– Как, что такое?

– Вы же ничего не сделали. Как было, так и есть.

– А это что? Тут какая щель была, ай забыли? Везде, где нужно, подмазали. Что вы такое выдумываете!

– Ну, вот, посмотрите: даже небо сквозь щель видно.

– Так эта щель вбок идет. Будьте покойны, в нее вода не зальется, ручаюсь вам. Если хоть капля протечет, вы за мною пошлите, я вмиг заделаю.

– Ну, вот сейчас вмиг и заделайте.

– Ах-х ты господи! Ведь вот народ! Чтоб этих щелей не было, всю крышу надо перекрывать, я же вам сказывал.

– Вы мне сказывали, что крыша пять лет простоит.

Мишка, как молодой петушок, учащийся петь, сказал:

– Нешто по крыше такой можно лазать? Две черепицы примажешь, а заместо того десять подавишь.

– Э, Мишка, пойдем! Не надо нам ваших пятидесяти рублей. Рады прижать рабочего человека. Эксплуататоры!

– Ваших мне пятидесяти рублей не нужно...

Катя прервала отца.

– И правильно! Конечно, не нужно давать. Сами же они видят, что ничего не сделали.

– Не сделали! Для хозяйского глаза все мало. За грош рады всю кровь высосать из рабочего человека!

Иван Ильич с отвращением молчал и доставал деньги.

– Да зачем же, папа, ты даешь? Пусть суд установит, – стоит эта работа пятьдесят рублей?

– Э, пусть его совесть это устанавливает!

Иван Ильич, не глядя на Глухаря, протянул деньги. Глухарь сунул их в карман и ласково сказал:

– Если печечку занадобится поправить, или потолок заштукатурить, вы пришлите. Мы это тоже можем. До свидания!

Катя напала на отца: как можно было давать деньги за такую работу! Пусть бы в суд подавал!

– Катенька! Смотреть противно! Ну его к черту, только бы с глаз долой!

– Ах, эти интеллигенты наши мяклые! На казнь пойдет – не дрогнет. А что несправедливо назовут эксплуататором, – нет, уж лучше что угодно! Пусть лучше первый жулик обирает средь бела дня, как дурачка!..

Катя порывисто повернулась и пошла в дом.

Гуриенко-Домашевская, известная пианистка, была именинница. Маленькая и сухая, с огромными черными глазами, она с привычно преувеличенным радушием артистки встречала гостей и каждому говорила приятное.

Сидели в просторной, богато обставленной зале и пили чай. Стол освещался двумя кухонными лампочками со стеклами. Чай разливался настоящий. На дне двух хрустальных сахарниц лежало по горсточке очень мелко наколотого сахара. Было вволю хлеба и сыра брынзы, пахнувшего немывыми овцами. Стояло десяток бутылок кислого болгарского вина.

С горько-юмористической хвастливостью хозяйка говорила:

– Вы посмотрите только, вы посмотрите, господа: какое царское освещение! Какие яства! И чай – настоящий! И даже сахар к нему! Роскошь-то какая... Нужно же перед голодной смертью попить, как следует, всю!

И в голосе ее было: да, я, знаменитая артистка, имя которой встречается во всяком энциклопедическом словаре – вот как я принуждена жить, и вот что ожидает меня по чьей-то чудовищной несправедливости.

– Не правда ли? Нужно благодарить бога. То ли еще бывает! Певец Беркутов умер в Петрограде от голода, скрипач Менчинский повесился в Москве... Буду и я ждать, что мне готовит судьба...

Возле Кати сидел молчаливый инженер Заброта, с светло-голубыми глазами и длинной шеей чахоточного. Специальности своей он не любил и пятый год на грошевом жалованье работал бухгалтером в деревенском кооперативе. Через Катю он наклонился к Ивану Ильичу и шепотом спросил вполголоса:

– Вы получили приглашение на организационное собрание отдельного кооператива дачников?

– Да. В чем тут дело?

– Я хотел об этом поговорить с вами. Гуриенко-Домашевская, Агапов и другие задумали основать дачный кооператив, чтоб отделиться от деревни. Мотивируют тем, что крестьяне неохотно пропускают в правление интеллигенцию и покупают только то, что нужно им самим.

– И верно! – подтвердила Катя. – Мука и ячмень, например, у них у самих есть, они их в потребилке и не держат, а мы нигде не можем достать.

Заброта сурово поглядел на нее.

– Можно их убеждать. Но отделиться – значит загубить деревенский кооператив.

Иван Ильич решительно сказал:

– Не годится!

– И потом: как же интеллигенцию не пропускают? Председатель правления Белозеров.

– Ах, Белозеров ваш, – воскликнула Катя. – Певец он, конечно, великолепный. Но не нравится он мне. Ищет популярности и во всем поддакивает мужикам. А у самого почему-то всегда все есть, – и мука, и сахар, и керосин. А мы ничего не можем достать.

Местный дачевладелец, о. Златоверховников, с наперсным крестом на георгиевской ленте, рассказывал о большевиках. Он был полковым священником в одной из добровольческих частей и на неделю приехал к себе отдохнуть. Большой, крепкий, с крупными чертами лица, он говорил четким, крепким басом. Недавно под Мелитополем большевики распяли на церковных дверях священника, а в алтаре устроили пирушку с девками. Священник был старик, уважаемый всею паствою. «Товарищи» приставили к нему караул и никого не подпускали. Он пять дней висел на гвоздях и умер от жажды.

Катя засмеялась.

– По крайней мере, раз пятьдесят я уже слышала про этого распятого священника и девок в алтаре, и всё в разных городах.

О. Златоверховников замолчал и внимательно поглядел на Катю.

– Удивительного ничего нет. Во многих городах они это и делают.

И отвернулся. Заброта наклонился к Кате.

– Вы при нем поосторожнее. Он – «даровой сотрудник», в постоянных сношениях с контрразведкой. Доносы написал на полдеревни. Я ему руки не подаю.

Катя прикусила язык. Она заметила, что и все говорили при нем с опаскою.

О. Златоверховников продолжал рассказывать.

– Только удивляться приходится, какое это дикое зверье. Хуже зверья! Кончен, например, бой. Обыкновенно у всех в это время только одно желание: отдохнуть. А они первым делом бросаются раскапывать могилы наших и начинают ругаться над трупами. Находят на это силы! А уж про раненых что и говорить!

Адвокат Мириманов, со своею знающею улыбкою, заставлявшею всех ему верить, рассказал, что недавно в Москве предполагался съезд Коминтерна. Пред открытием заграничных рабочих-делегатов пригласили на банкет. Фрукты, цветы зимою, шампанское. Декорированные комиссарши. Рабочие поглядели. . . «Россия ваша погибает от голода и холода, вы выдаете рабочим по полфунта хлеба с соломою, а сами пьете шампанское! Теперь мы знаем, что такое ваш коммунизм». И уехали обратно.

И много все рассказывали.

Как всегда, очень поздно пришел Белозеров, артист государственных театров. Бритый, с желтоватым лицом, с пышными, мелко вьющимися волосами. Его встретили радостными приветствиями. Добродушно и сдержанно улыбаясь, он здоровался. Барышни восторженно смотрели на него.

Хозяйка спросила:

– Вы сегодня из города. Что новенького?

Белозеров взглянул на о. Златоверховникова.

– Вот, батюшка, наверно, больше осведомлен. В городе потрухивают, слухи самые фантастические. Должно быть, так, беспричинные?

О. Златоверховников сказал веско:

– Работа агитаторов большевистских. Дела очень прочны. Вся паника оттого, что войска отступили к Перекопу. Но Перекоп, это – Фермопилы, один полк легко может задержать целую армию. А Деникин тем временем совершает перегруппировку войск.

Белозеров принял из рук хозяйки стакан чаю и подсел к красавице княгине Андожской. Сейчас же, как мухи каплю сиропа, его кольцом обсели дамы.

О. Златоверховников протиснулся и ушел. Белозеров проводил его глазами и потом сказал встревоженно:

– Дела, господа, очень плохи. Не сегодня-завтра большевики будут по эту сторону Перекопа. В городе паника. Сорок банкиров и фабрикантов наняли за двести тысяч отдельный пароход и собираются уезжать.

Гуриенко-Домашевская желчно засмеялась.

– То-то, должно быть, наш большевик деревенский радуется, Афанасий Ханов! Опять его пора приходит. . . Одного я не понимаю: как его добровольцы не повесят? При первом большевизме был комиссаром уезда, а спокойно расхаживает себе на воле, и никто его не трогает.

Профессор Дмитревский сказал:

– Это прекраснейший человек. И очень интересный, с ищущей душой.

Хозяйка низко поклонилась Дмитревскому.

– Очень вас благодарю, профессор, за эту прекрасную душу! Когда был комиссаром, встречает меня: «мы вашу дачу, Антонина Павловна, реквизируем под народный дом». – Прекрасно! – говорю. – А свой двухэтажный дом в деревне вы подо что реквизируете?

– И свой бы дом реквизировал. Вы знаете, ведь он нижний этаж его отдал под кооператив даром, ничего за это не берет.

– Это верно, – подтвердил Заброда.

– Пусть свое отдает! А какое же он имеет право распоряжаться моим? Я тоже тяжелым трудом нажила свою дачу. Никого не эксплуатировала, все зарабатывала вот этими руками!

Жена профессора вздохнула.

– Да. Другие вот уезжают. А нам приходится тут сидеть и ждать.

Агапов, скромно сидевший с сигарой в уголке дивана, вдруг сказал, ласково улыбаясь:

– Ничего не поделаешь: придется сидеть и ждать. Нужно же сказать правду: идет истинно народная власть. И пусть приходят, я рад. Хоть какой-нибудь порядок.

Все удивленно молчали. Хозяйка, подняв брови, глядела на Агапова.

– Раньше вы, Михаил Михайлович, иначе говорили... Вот как отберут у вас большевики ваш миллион, который вы из Москвы привезли, тогда узнаете, какой порядок.

– Какой миллион? – Агапов весело засмеялся про себя. – Я бога благодарил, что удалось провезти сорок тысяч. А говорю я с высшей точки. Рад я, не рад, а признать нужно, что только у большевиков настоящая сила.

Белозеров настороженно прислушивался. Профессор Дмитревский своим громким, полным голосом сказал:

– Да, печально это, но я с Михаилом Михайловичем вполне согласен. Широкие народные массы за большевиков, – это неоспоримо.

Иван Ильич вскипел:

– Та-ак-с!.. И отсюда выходит, – идти большевикам навстречу? Приветствовать их приход? Если широкие народные массы за еврейский погром, то прикажете мне идти с ними, бить жидов?

Профессор мягко возразил:

– Я этого не говорю. Но борьба с ними бессмысленна и не имеет под собою почвы. Добровольцы выкидывают против них затрепанные, испачканные грязью знамена, и народ к белым откровенно враждебен. Сейчас же только эти две силы и есть. Надо же нам, истинным демократам и социалистам, честно взглянуть правде в глаза, как бы она тяжела ни была.

Заброда неодобрительно замычал. Закипел ярый спор между Иваном Ильичом и профессором. Агапов поддерживал профессора. Мириманов молча слушал, едко улыбаясь про себя. Хозяйка и остальные гости были за Ивана Ильича, но, от их поддержки, спор все время сбивался с колеи: у них была только неистовая злоба к большевикам, сквозь которую откровенно пробивалась ненависть к пробудившемуся народу и страх за потерю привычных удобств и выгод.

Как только спор стал принимать острый характер, и в колючих глазах хозяйки забегали недобрые огоньки, профессор искусно замял разговор и стал просить хозяйку сыграть.

Гуриенко-Домашевская погасила огоньки в глазах и ласково улыбнулась.

– Ну, как хозяйка, уж начну первая. А потом будем просить спеть Владимира Ивановича.

Гуриенко села за рояль. Она играла Бетховена, Шопена. Большие глаза ее засветились загоревшимся изнутри светом и стали прекрасными. И вдруг все злобное, придавленное, испуганное стало таять в людях и испаряться. В полутемной зале засияла строгая, величавая красота.

Кате бросилась в глаза княгиня Андожская. Она грустно сидела, опустив голову на руку, – изящная, с отпечатком тонкой, многовековой культуры в лице и движениях. Но чисто вымытая шея пестрела красными точками от блошинных укусов; красивые руки были красны, в черных трещинках; спереди во рту не хватало одного зуба. И это кольцо! Это кольцо! Как последняя горничная... Пройдет еще полгода, – и вся многовековая культура сползет с нее, как румяна под дождем, станет она вульгарною, лживою, с жадно приглядывающимися исподтишка глазами, – такую, каких она раньше так презирала и чьими трудами создавалось благородное ее изящество. Лежит прекрасная лилия, вырванная с корнем, и уж не будет ей жизни, и другие

какие-то цветы зацветут на развороченной почве... А возле Белозерова сидели барышни Агаповы. Их еще не коснулось лихолетье: бриллианты в ушах, белые ручки, изящные платья... А они, – они тоже уже назади? Или выплывут из моря, куда их сбросит налетающий вихрь, и опять воротятся со своими лиловыми неграми и томно-сладострастными креольчиками?

Гуриенко заиграла «Осеннюю песню» Чайковского. Затасканная мелодия под ее пальцами стала новой, хватающею за душу. Липовые аллеи. Желтые листья медленно падают. Les sanglots longs des violons de l'automne². И медленно идет прекрасный призрак прошлого, прижав пальцы к глазам.

Княгиня низко опустила голову, плечи ее стали тихонько вздрагивать. Катя быстро пересела к ней.

– Ну, княгиня, не надо!.. Я давно на вас смотрю... Нужно стать выше судьбы, нужно бодро нести все, что бы ни послала жизнь...

Она взяла в руки ее руку и стала нежно гладить. Княгиня удивленно взглянула, – они были едва знакомы, – и вдруг порывисто сжала в ответ руку Кати. И молчала, сдерживая вздрагивания груди, и крепко пожимала Катину руку.

Ни сна, ни отдыха измученной душе,
Мне ночь не шлет отрады и забвенья –

запел Белозеров.

Это был какой-то пир: пел Белозеров, опять играла Гуриенко-Домашевская; потом пели дуэтом Белозеров с княгинею. Гости сели за ужин радостные и возрожденные, сближенные. И уж не хотелось говорить о большевиках и ссориться из-за них. Звучал легкий смех, шутки. Вкусным казалось скверное болгарское вино, пахнувшее уксусом. У Ивана Ильича шумело в голове, он то и дело подливал себе вина, смеялся и говорил все громче. И все грустнее смотрела Анна Ивановна, все беспокойнее Катя.

Расходились. Иван Ильич, с всклоченными волосами, жарко жал руки Домашевской и Белозерову.

– Спасибо вам, мои хорошие! Встряхнули душу красотой. Легче стало дышать!

Было тихо, тепло. Ущербный месяц стоял высоко над горами. Впереди по шоссе шли Анна Ивановна и Катя с княгинею, за ними сзади – Иван Ильич, Белозеров и Заброта. Иван Ильич громко говорил, размахивая руками.

У канавки шоссе, близ телеграфного столба, густой кучкою сидели женщины в черных одеждах, охватив колени руками. Месяц освещал молодые овальные лица с черными бровями. Катя вгляделась и удивилась.

– Смотрите! Да ведь это наши деревенские! Васса, Дока! Вы это? Чего вы тут сидите?

Женщины молчали. Наконец одна сказала:

– Дикая орда идет из города.

– Какая дикая орда?

– Один болгарин наш прискакал, подал весть: всех девок себе забирают.

– Да что это за дикая орда?

Деловито вмешался Иван Ильич:

– Не понимаешь! Погоди, я сейчас разберу... Это дикая дивизия значит, чеченцы. Правильно?

– Ну, да.

– Вы-то чего же, красавицы, испугались?

² Долгие рыдания осенних скрипок (франц.).

– Наши у фонтана стерегут. Как дадут весть, в горы побежим, в сады.

Иван Ильич захохотал пьяным смехом.

– Да не за вами они идут, дурочки! Они парней идут ловить, что на мобилизацию не явились. Им лучше скажите, чтоб в горы утекали!

Девушки молчали.

– Ну, ну! Сидите уж! Оно, конечно, все-таки вернее и вам уйти... Сидите, девочки мои хорошие!

Пошли дальше. Иван Ильич вздохнул.

– Эх, хорошо бы выпить теперь! Как следует! Так, чтобы этот однобокий дурак на небе заплясал.

– Выпить сейчас хорошо, – согласился Белозеров. – Знаете, что? Зайдем ко мне. У меня вино есть. Хорошее! Барзак, старый.

– Да неужто?! Благодетель! Вот это так штука!.. Нюра, Катя! – закричал он. – Вы дойдите одни до дому, – ничего, тут недалеко. А мы к маэстро на часок зайдем, по пьяному делу.

Белозеров жил совсем один в маленькой уютной дачке недалеко от шоссе. Месяц светил в большие окна, в углу блестел кабинетный рояль. Белозеров зажег на столе две толстых стеариновых свечи. Осветилась над роялем полированная ореховая рама с Вагнером в берете.

Иван Ильич удивился.

– Ого! Вот буржуй! Как живет! И свечи есть.

Белозеров лихо подмигнул.

– В Петрограде еще запасся, давно. Я человек коммерческий. Покупал у кондукторов по двадцать пять копеек фунт. Столько напас, что перед отъездом с полпуда знакомым распродал по два рубля за фунт.

– Ловко! – расхохотался Иван Ильич. – Слышишь, хохол? – обратился он к Заброде. – Знакомым по два рубля, а незнакомым, наверно, рубликов по пяти. Вот они где, спекулянты-то!.. Ты, брат, у меня смотри! – погрозил он Белозерову пальцем. – Певец ты божественный, но душа у тебя... по-до-зрительная! Я тебя насквозь вижу!

Белозеров кисло улыбнулся и пошел за вином.

Уж несколько опорожненных бутылок стояло на столе. Свет месяца передвинулся с валика турецкого дивана на паркет. Иван Ильич говорил. Он рассказывал о бурной своей молодости, о Желябове и Александре Михайловне, о Вере Фигнер, об огромном идеалистическом подъеме, который тогда был в революционной интеллигенции.

– И вот теперь все разбито, все затоптано! Что пред этим прежние поражения! За самыми черными тучами, за самыми слякотными туманами чувствовалось вечно живое, жаркое солнце революции. А теперь замутилось солнце и гаснет, мы морально разбиты, революция заплевана, стала прибыльным ремеслом хама, сладострастной утехой садиста. И на это все смотреть, это все видеть – и стоять, сложив руки на груди, и сознавать, что нечего тебе тут делать. И что нет тебе места...

Дрожащею рукою он налил в стакан вина и жадно отхлебнул.

– А что они с народом сделали, – с великим, прекрасным русским народом! Вытравили совесть, вырвали душу, в жадного грабителя превратили, и звериное сердце вложили в грудь.

Иван Ильич поколебался и вдруг решительно махнул рукою.

– Ну, уж все равно! Расскажу вам, что со мною случилось, как сюда ехал... На маленькой станции неожиданно двинулся наш поезд, я прицепился на ходу к первому попавшемуся вагону, вишу на руках и только одним носком опираюсь на подножку. На ступеньках и площадке солдаты, мужики. Никто не двинулся. Ледяной ветер бьет навстречу вдоль вагонов, стынут руки, нога немеет. А наверху – равнодушные лица, глаза смотрят на тебя и как будто не видят, шелуха семечек летит в лицо. «Товарищи, – говорю, – сдвиньтесь хоть немножко, дайте хоть другой ногой на подножку стать. Я только до первой остановки, там в свой вагон

перейду»... Молчат, лущат семечки. Кажется, начини кто на их глазах живого потрошить человека, они так же будут равнодушно глядеть и шелуху выплевывать на ветер... И проскочила у меня мысль: вот для кого я всю жизнь мыкался по тюрьмам и ссылкам, вот для кого терпел измывательства станowych и околоточных... Вышел, наконец, какой-то человек из вагона, крикнул: «Не видите, что ли, человек замерзает на ветру, сейчас сорвется? Сукины вы дети, подвиньтесь, дайте место!» И чуть-чуть только пришлось двинуться, – один коленкой шевельнул, другой плечом повернулся, – и так оказалось легко взойти на площадку! А правду скажу: еще бы минута, – и в самом деле сорвался бы, и уж самому хотелось пустить руки и полететь под колеса... К черту жизнь, когда такое может делаться! О, друзья мои! Друга мои милые! Год уж прошел, а все горит у меня эта рана!

Он опустил лохматую голову на локоть; плечи, дергаясь, поднимались и опускались.
Белозеров молча сел к роялю, взял несколько аккордов и запел:

О, Волга-мать, река моя родная!
Течешь ты в Каспий, горяшка не зная.

Иван Ильич изумленно поднял голову.

– Что это? Это наша старая волжская песня, студенческая... Откуда вы ее знаете? Вы разве с Волги сами?

– С Волги. Не мешайте, – строго сказал Белозеров.

О, Волга-мать, река моя родная!
Течешь ты в Каспий, горяшка не зная,
А за волной, волной твоей свободной,
Несется стон, великий стон народный...

Речные просторы чувствовались в голосе, и молодая печаль, и молодая, жаркая ненависть, какую горят только сердца, сжечь себя готовые в жертвенном подвиге. Иван Ильич жадно слушал с полуоткрытым, как у ребенка, ртом.

Ты все несешь, плоты и пароходы.
Что ж не несешь сынам своим свободы?
Тебе простор, тебе гулять приволье,
А нам нужда, и труд, и подневолье...

Иван Ильич рыдал. Долго рыдал. Потом поднял смоченное слезами лицо и ударил кулаком по столу.

– Да! И все-таки... Все-таки, – верю в русский народ! Верю! Вынес он самодержавие, – вынесет и большевизм! И будет прежний великий наш, великодушный народ, учитель наш в добре и правде! В вечной народной правде!..

Покачиваясь и поддерживая друг друга, шли они с Забродой по шоссе. Красный полумесяц уходил за горы. С севера дул холодный ветер. Иван Ильич, с развевающимися волосами, – шапку он забыл у Белозерова, – грезил кому-то кулаком навстречу ветру и кричал громовым голосом, звучавшим на весь поселок:

– Палачи русского народа!!

Вошедши в кухню, он натолкнулся в темноте на составленные стулья, кто-то на них спал. Голос Кати сказал:

– Папа, это я.

– Чего ты тут улеглась?

- Леонид у нас.
- Леонид? Что ему тут нужно, подлецу?
- Тише, он в моей комнате спит. Приехал, говорит, проведать, отдохнуть.
- Знаю я, зачем он приехал... Приятный сюрприз!
- Ворча, он ушел к себе в спальню.

Проснулся Иван Ильич поздно. Долго кашлял, отхаркивался, кряхтел. Голову кружило, под сердцем шевелилась тошнотная муть. Весеннее солнце светило в щели ставень. В кухне звякали чайные ложечки, слышался веселый смех Кати, голос Леонида. Иван Ильич умылся. Угрюмо вошел в кухню, угрюмо ответил на приветствие Леонида, не подавая руки.

- Катя оживленно болтала, наливала Леониду чай, подкладывала брынзы.
- Ешь! Как ты похудел! И даже сединки в волосах. Это в двадцать восемь лет!
- Иван Ильич, – мрачный, с измятой бородой, – пил чай в молчал.
- Катя взяла с холодной плиты миску с ячменным месивом.
- Подожди минутку, сейчас поросенку дам поесть, приду.
- И ушла. Иван Ильич хмуро спросил:
- Ты из Совдепии?
- Да.
- Зачем приехал?
- Вас проведать. Отдохнуть. Устал.

Иван Ильич приглядывался к нему: по-прежнему в темных волосах ярко-седой клочок над левым виском; добродушные глаза, добродушный голос, но губы решительные и недобрые.

Воротилась Катя. Она очистила кухонный стол, выложила из кошелки семь цыплят и стала их кормить рубленым яйцом.

- Вчера вылупились. Посмотри, какие.
- Прелесть!
- Правда, как будто пушистые желтые яички на ножках? И такие серьезные, серьезные!
- Леонид взял цыпленка, закрыл его ладонями и стал нежно на него дышать.

– Ты знаешь, я решила в этом году завести полсотни кур. Будем жить куриным хозяйством. Противно смотреть на дачников, – стонут, ноют, распродают последние простыни, а сидят сложа руки. Будем иметь по несколько десятков яиц в день. Сами будем есть, на молоко менять, продавать в городе. Смотри: сейчас десяток яиц стоит 8 – 10 рублей...

Ивану Ильичу было досадно, что Катя с таким увлечением посвящает в свои хозяйственные мечты этого чужого ей по духу человека. Он видел, с какою открытою усмешкою слушает Леонид, – с добродушною усмешкою взрослого над пустяковою болтовнею ребенка. А Катя ничего не замечала и с увлечением продолжала говорить. Иван Ильич ушел к себе и лег на кровать.

– Еще я кабанчика откармливаю, осенью зарежем, – на всю зиму колбасы будут, ветчина, сало. А какие умные свиньи! Вот я никогда раньше не думала. Одно из самых умных животных... Хочешь, я тебе свое хозяйство покажу?

Леонид вскочил на ноги.

– Покажи.

Лицо его сморщилось от неожиданной боли, но он поспешил разгладить морщины.

– И хозяйство твое, и вообще всю вашу дачку. Ведь я ее еще не видел.

Они вышли в сад. Леонид слегка прихрамывал. Солнце сверкало и грело. Сад был просторен, гол, но травка уже зеленела. На миндальных деревьях розовели набухшие бутоны. Сквозь ветки темнело море, огромное и синее.

Катя выпустила из чулана под лестницей поросенка. Он очумело выскочил, радостным карьером сделал несколько кругов, потом сразу остановился и, похрюкивая, стал щипать молодую травку.

– Смотри, какой жирный и большой! И знаешь, что я заметила? Что свиньи – очень чистолюбные животные. В грязь они лезут потому же, почему мы умываемся. Грязь засохнет и задушит на ней всех вшей, блох. А потом отскребет грязь об угол или ствол, – и чистенькая, как вымытая. И только нежная розовая кожа просвечивает сквозь щетину... Как все интересно, куда ни посмотришь!

Леонид жадно глядел на море.

– Хорошо у вас тут!

И вдруг он засмеялся неожиданно прорвавшимся, внутренним смехом.

– Странно! Какое у вас здесь тихое, мирное житие! А жизнь клокочет, как в вулкане...

Пойдем, покажи дачку.

Он брезгливо оглядел поросенка и, прихрамывая, пошел к террасе.

– Отчего ты хромаешь?

– Так... Телега опрокинулась, когда сюда ехал. Ушиб ногу. Пустяки.

Но Катя женским своим взглядом заметила неумело наложенную заплату на левом бедре и замытую кровь у ее краев.

– А это что? Вот ты зачем у меня вчера иголку брал... Ленка, что-то тут...

Она с любовью и с просьбой заглянула ему в глаза. Леонид сердито нахмурился.

– Вот пристала! Оставь ты меня, пожалуйста! Нежности эти бабьи...

Катя вздрогнула. Вдруг она вспомнила рассказ Дмитрия, как он стрелял по двоим, убежавшим от контрразведки, и как ранил одного в ногу.

Дача, кроме маленькой комнаты и кухни с каморкой, где Саргановы жили зимою, имела еще три больших летних комнаты.

– Славная дачка! – В углах губ Леонида задрожала дразнящая улыбка. Когда мы будем здесь, мы ее реквизируем под клуб коммунистической молодежи.

– А вы скоро будете здесь?

– Недельки через две, не позже.

Катя жадно спросила:

– Встречал ты за это время Веру?

– Встречал много раз. Она в Петрограде работает, в женотделе. Чудесная работница. –

Он насмешливо улыбнулся. – А дядя к ней по-прежнему?

Катя грустно ответила:

– По-прежнему. Говорит, что Вера для него умерла. Мы при нем никогда не говорим про нее, сейчас же у него делается такое беспощадное лицо... Расскажи подробно, – что она, как?

После обеда Катя стала гладить белье, а Леонид ушел в горы.

Воротился он в сумерки, с большим букетом подснежников, и установил его в стеклянной банке посреди кухонного стола. Сели пить чай. Иван Ильич по-прежнему недоброжелательно поглядывал на Леонида. Он спросил:

– Ну, что? Как дела у вас? По-старому, – арестовываете, расстреливаете?

Леонид сдержанно улыбнулся.

– Кого нужно, арестовываем и расстреливаем.

– А многих нужно?

– Многих. Контрреволюция так и шипит, так и высматривает, куда бы ужалить.

– Да, многих, многих! Всех, кто не большевик. Значит, почти весь русский народ. Много еще работы предстоит.

– Трудового народа мы не трогаем, его мы убеждаем, и знаем, что он постепенно весь перейдет к нам. А буржуазия, – да, с нею церемониться мы не станем, она с нами никогда не пойдет, и разговаривать мы с нею не будем, а будем уничтожать.

– Уничтожать? Я что-то не пойму. Как же, – физически уничтожать?

– Да хоть бы и физически. Не ликвидируешь их, – уйдут к Колчаку, к Деникину и будут сражаться против нас.

Катя ахнула.

– Леонид, что ты говоришь? Для марксизма важно уничтожение тех условий, при которых возможна буржуазия, а не физическое ее уничтожение... Какая гадость!

Леонид пренебрежительно взглянул на нее.

– Э, милая моя! С чистенькими ручками революции делать нельзя. Марксизм, это прежде всего – диалектика, для каждого момента он вырабатывает свои методы действия.

– Но погоди, – сказал Иван Ильич. – Ведь вы сами при Керенском боролись против смертной казни, вы Церетели называли палачом. И я помню, я сам читал в газетах твою речь в Могилеве: ты от лица пролетариата заявлял солдатам, что совесть пролетариата не мирится и никогда не примирится со смертной казнью. Единственный раз, когда я тебе готов был рукоплескать. И что же теперь?

Леонид изумленно пожал плечами.

– Удивительно! Мы уж совсем на разных языках говорим... Ну, да! Тогда речь шла о казни солдат, мужественно отказывавшихся участвовать в преступной империалистической войне. А теперь речь о предателях, вонзающих нож в спину революции.

– Но ведь ты говорил – пролетариат никогда не примирится со смертной казнью, в принципе!

– Полноте, дядя! Может, и говорил. Что ж из того! Тогда это был выгодный агитационный прием.

Катя гадливо вздрогнула. Иван Ильич схватился за грудь, прижал руки к сердцу и, закусив губу, шатающимся шагом заходил по кухне.

– Предали революцию! – с тоской воскликнул он. – Предали безнадежно и безвозвратно!

Леонид насмешливо блеснул глазами.

– Да неужели вы, дядя, не понимаете, что революция – не миндальный пряник, что она всегда делается так? Неужели вы никогда ничего не читали про великую французскую революцию, не слышали про ее великанов, – Марата, Робеспьера, Сен-Жюста или хотя бы про вашего мелкобуржуазного Дантона? Они тоже не миндальные пряники пекли, а про них вы не говорите, что они предали революцию... Ну, хорошо, мы предали. А вы, верные ее знаменосцы, – вы-то где же? Нас много, за нами стихия, а вы, – сколько вас?

– Вас много, потому что хамов много.

– Допустим. А вы, чистенькие, безупречные, – что вы делаете в это великое время? Вы, – я не знаю, может быть, вы за добровольцев?

– Нет, брат, избавь от этой чести!

– А тогда что же? Кто с вами? И что вы хотите делать? Сложить руки на груди, вздыхать о погибшей революции и негодовать? Разводить курочек и поросяточек? Кто в такие эпохи не находит себе дела, тех история выбрасывает на задний двор. «Хамы» делают революцию, льют потоками чужую кровь, – да! Но еще больше льют свою собственную. А благородные интеллигенты, «истинные» революционеры, только смотрят и негодуют!..

Иван Ильич ходил и молчал. Потом вдруг круто остановился перед Леонидом и спросил:

– Скажи, пожалуйста, для чего ты сюда приехал?

– Я уже вам говорил: отдохнуть.

– Зачем же тебе было ехать для этого сюда, пробираться через фронт, подвергаться опасностям? Ведь для «усталых советских работников» отдых у вас создается просто: выгони бур-

жуя из его особняка, помещика из усадьбы – и отдыхай себе вволю от казней, от сысков, от пыток, от карательных экспедиций, – набирайся сил на новые революционные подвиги!

Леонид, улыбаясь про себя, молча отхлебывал из кружки чай. Иван Ильич тяжелым взглядом смотрел на него.

– А скажи, пожалуйста: если бы кто-нибудь приехал и остановился у тебя, кто, – ты верно знаешь, – всею душою против большевиков, и кто, ты подозреваешь, приехал работать против них, – что бы ты сделал?

Леонид взглянул вызывающе смеющимися глазами.

– Станный вопрос. Конечно, дал бы знать в чрезвычайку. Она бы мигом с ним разделалась.

– Донес бы, значит?

– И глазом бы не моргнул.

Иван Ильич тяжело дышал и смотрел на него. Лицо его краснело, в душе поднимался вихрь. Стараясь овладеть собою, он медленно и спокойно сказал:

– Вот что, голубчик! Я не доносчик, и в жизнь свою никогда доносчиком не был. И на тебя не донесу. Но... уходи, милый мой, от нас сейчас же.

Катя порывисто двинулась, но ничего не сказала. Леонид, не допив стакана, с неопределенною улыбкою встал и медленно вышел. Слышно было, как он в Катиной каморке зажег спичку, как укладывал свои вещи. Все молчали.

Анна Ивановна нерешительно сказала:

– До утра бы оставить его, пусть переночует. Куда он пойдет, на ночь глядя?

– Нет!! – бешено крикнул Иван Ильич. Лицо его стало темным, как чугун. – Сейчас же вон! Доносчик, палач, – не позволю поганить нашего дома! Иначе сам уйду! Так вы все и знайте!

Он зашагал по кухне и вдруг качнулся, как сильно пьяный. Анна Ивановна побледнела, Катя вскочила и подбежала к нему. Он отстранил ее рукою.

– Не-ет!.. Нужна, господа, хоть какая-нибудь брезгливость! Вы самого Иуду готовы в постельку уложить и укрыть тепленьким одеяльцем!.. Не-ет!..

Вошел Леонид с котомкою за плечами.

– Палку свою я, кажется, здесь оставил.

Он взял в углу палку. Глаза его смотрели кротко, в них было то хорошее, покорное и грустное, что Катя знала в нем в часы преследований и несчастий в былые времена. У ней сжалось сердце.

– Куда ты пойдешь?

– Наших тут везде много, приют найду где угодно. До свидания! – мягко сказал он.

– Погоди, Леня!

Катя быстро отрезала половину большого хлеба и подала ему.

– Э, дурочка, на что мне! Ведь у самих муки мало.

– Ну, ну, бери!

Он взял и вышел. Все молчали.

Муж и жена, с очумелыми глазами, полными отчаяния и усталости. С утренней зари до поздней ночи оба беспомощно трепались в колесе домашнего хозяйства, неумелые и растерянные. Пилили вдвоем дрова тупую пилою с обломанными зубьями и злобно ссорились. Он колот поленья зазубренным топором, то и дело соскакивавшим с топоризца. Она доила корову, которой смертельно боялась.

Корова брыкалась, ей связывали ноги. Жена опасно доила, каждую минуту готовая отскочить, а муж стоял перед мордою коровы, косился на рога, грозил толстой палкой и свирепо все время кричал. И были у коровы такие же ошалелые глаза, как у хозяев.

Ложились поздно ночью, – никак не успевали управиться раньше, а к пяти утра нужно было вставать доить корову. Хоть бы раз выспаться всласть, – это было их высшим блаженством, о котором не смели и мечтать. И результатом чудовищной работы, выматывавшей все силы, было, что этот день, слава богу, кое-как сыты.

Катя помнила их два года назад. Счастливая, милая семья на уютной своей дачке, с детками, нарядными и воспитанными. Он тогда служил акцизным ревизором в Курске. У нее – пушистые, золотые волосы вокруг веселого личика. Теперь – лицо старухи, на голове слежавшаяся собачья шерсть, движения вульгарные. Распущенные грязные ребята с мокрыми носами, копоть и сор в комнатах, неубранные постели, невынесенная ночная посуда. И бешеные, злобные ссоры весь день.

– Катерина Ивановна, вы гладите свое белье?

– Конечно.

Она с торжеством посмотрела на мужа.

– Что?

– «Что»! Совершенно бессмысленная трата сил. Нелепое щегольство, когда и без того погибаем от работы.

– «Щегольство»! Катерина Ивановна, посмотрите на меня, – правда, какая щеголиха? Ха-ха-ха!.. И то хуже кухарки всякой.

– Здравствуйте! Как живете?

– Плохо, конечно. Вещи распродают, – этим питаюсь. А вы?

– Все вещи распродал. Воруя.

– Распродам – тоже останется воровать.

По-крымски медленно надвигалась весна. Высокое солнце лило на землю нетерпеливый жар, но остывшее море перехватывало его и пускало в воздух острый холодок. Неспешно набухали почки акаций и тополей. Миндальные деревья, как повенчанные невесты, медленно сбрасывали свой воздушно-белый наряд и одевались в плотные зеленые платья. Скворцы черными четками усаживались к вечеру на холодеющие телеграфные проволоки, упоенно блеяли козлятами, квакали лягушками, свистели, как чабаны. Без северной тревоги и томления шла весна.

А в людях тревога. «Идут? Не идут?» Никто ничего не знал. Но чувствовалось, – что-то надвигается, что-то ломается и трещит... Свирепее и безудержнее становились реквизиции, разнузданнее войска. На дорогах казаки отнимали у мужиков муку и вино, забирали хороших лошадей и оставляли взамен своих, загнанных и охромевших. В городе офицеры сводно-гвардейского полка ворвались в тюрьму, вывели тридцать бандитов и большевистских комиссаров и расстреляли их на берегу моря. Богатые люди выезжали на пароходах в Новороссийск, Батум, Константинополь.

Смелее становился народный говор и ропот. Дерзче грабежи в экономиях и дачных поселках. Чаше поджоги. Безбоязненное уклонения от мобилизации. В потребиловке Агапов и Белозеров, осторожно оглядываясь, говорили, что добровольцы, собственно, обманули народ, и что истинно народную власть могут дать только большевики.

Привезли, наконец, муку в потребиловку. Сартановы уж неделю сидели без хлеба и ели разваренные кукурузные зерна. Катя пришла получить муку.

В прохладной лавке с пустыми полками народу было много. Сидели, крутили папиросы, пыхали зажигалками. Желтели защитные куртки парней призывного возраста, воротившихся из гор. Болгарин Иван Клинчев, приехавший из города, рассказал, что на базаре цена на муку сильно упала: буржуи бегут, везут на пароходы все свои запасы, а дряглили, вместо того, чтобы грузить, волокут муку на базар.

Штукатур Тимофей Глухарь злобно сказал:

– Ишь, сволочь какая! Народ с голодудохнет, а они муку увозят!

Толстая болгарка с черными, как сажа, бровями спросила продавщицу Маню:

– Сколько катушка стоит?

– Сорок рублей.

– Господи, что же это!

Глухарь отозвался:

– Дай, большевики придут, – сорок копеек будет стоить. Они все это спекулянтство уничтожат.

Катя, со всегдашней своею привычкою говорить, что в душе, удивленно поглядела на него.

– Тимофей! Как же вы совсем еще недавно говорили, что вы против большевиков?

– А вам желается, чтоб у нас кадеты остались? Хе-хе! Не-ет! Довольно! Поездили на наших шеях!

– Я вам не говорила, что мне желательно.

– Еще бы теперь говорить! Вы теперь затаились. Чуете, что дело ваше плохо.

Осторожные болгары с молчаливою усмешкой поглядывали на Катю. Русские злорадно стали глумиться над добровольцами и ругать их. Веселый парень в солдатской рубашке без пояса запел:

Пароходик идет, вода кольцами,
Будем рыбу кормить добровольцами!

Катя стала с чеком в очередь. Толстая болгарка подошла и стала перед нею.

– Послушайте. Марина, не видите, – очередь? Что же вы вперед заходите?

– Мне некогда.

– И мне тоже некогда.

– Подождете. Что вам делать? Мы работаем, а вы на берегу голые лежите.

Кругом засмеялись. Подвыпивший столяр Капралов вдруг грозно спросил болгарку:

– А кому какая польза, что ты работаешь? Кабы вы на общественную пользу работали, то было бы дело. А вы зерно в ямы зарываете, подушки набиваете керенками, – «работаем»! Сколько подушек набила? А приду к тебе, мучицы попрошу для ребят, скажешь: нету!

Он властно отстранил болгарку и обратился к Кате:

– Становитесь, барышня, в свою очередь. А твое вот где место. Ее отец хороший человек.

Болгары шурились и молча смотрели в стороны. Толстая болгарка не так уж уверенно возразила:

– А мы нешто плохие?

– Вы не хорошие и не плохие. Он за народное дело в тюрьме сидел, бедных даром лечит, а к вашему порогу подойдет бедный, – «доченька, погляди, там под крыльцом корочка горелая валялась, собака ее не хочет есть, – подай убогому человеку!» Ваше название – «файдасыз»³!.. Дай, большевики придут, они вам ваши подушки порастрясут!

Катя получила полтора пуда муки и волоком вытащила мешок наружу.

По шоссе в порожних телегах ехали мужики. Катя подбежала и стала просить подвезти ее с мешком за плату к поселку, за версту. Первый мужик оглядел ее, ничего не ответил и проехал мимо. Второй засмеялся, сказал: «двести рублей!» (В то время сто рублей брали до города, за двадцать верст.)

³ Великолепное татарское слово, значит оно: «человек, полезный только для самого себя». Так в Крыму татары называют болгар. (Прим. В. Вересаева.)

Из потребиловки мужик, с рыжеватой бородой и красными, обтянутыми скулами, вынес свои покупки и стал укладывать в телегу. Катя быстро спросила:

– Вы по шоссе поедете, мимо поселка?

Мужик, не оглядываясь, пробурчал:

– Нечего мне с тобой. Проходи!

Деревенские, сидевшие на скамейке у потребиловки, засмеялись. Парень Левченко, с одутловатым, в прыщах, лицом, в солдатской шинели, сказал:

– Тащи-ка на своем хребте. Ноне на это чужих хребтов не полагается.

Катя вспыхнула.

– Знаете, что? Когда на почте неграмотный человек просит меня написать ему адрес на письме, – я не смеюсь над ним, потому что знаю: он не умеет писать, а я умею. А мешок поднять у меня нет силы. Не хотите помочь – ваше дело. Но как же вам не стыдно смеяться?

Сидевшие на скамейке молчали. Левченко улыбался нехорошою улыбкою. Мужик в телеге удивленно взглянул на Катю и вдруг сказал:

– Садитесь.

И сам положил ее мешок в телегу.

Они затряслись по шоссе. Катя усаживалась на своем мешке и радостно говорила:

– Ну, вот, видите: все-таки, все-таки люди добрее и лучше, чем кажутся! Ведь вот стало же вам совестно! Но скажите, – почему все теперь стали такие жестокие?

Мужик улыбнулся хорошою мужицкою улыбкою.

– Верно. Осатанел народ.

– Но почему же?

Он подумал, но не нашел ответа. Пошевелил плечами и стегнул кнутом лошадь.

Легкий ветерок дул с залитых солнцем гор, пахло фиалками. Мужик разговорился. Он был из соседней степной деревни. Рассказал он, как после ограбления экономии Бреверна к ним в деревню поставили постоем казаков.

– Корми их, пои. Всё берут, на что ни взглянут – полушубок, валенки. Сколько кабанчиков порезали, гусей, курей, что вина выпили. Девок за груди хватают, и не могли им ничего сказать, – сейчас за пашку. А мы чем виноваты? «К вам, – говорят, – след от колес ведет из экономии». Может, и из наших кто. Мало ли с войны солдат воротилось. Да ведь он оказываться не станет; если что своровал, схоронит. А к ответу всех поставили. Нашего брата, как хочешь, обижай. У зятя моего в Бараколе кадеты стали лошадь отымать, он не дает. «Я, говорит, через нее хлеб кушаю». – «Ну, вот покушай!» И из ливарвера ему в лоб. Бросили в канаву и уехали. Старики в город пошли жаловаться, все расписали, как было. Те опять приехали: «Вы, говорят, жаловались?» – «Мы». Отхлестали нагайками и – ходу!

Катя в беспомощном негодовании оглядывала сверкавшие солнцем дали.

– Да это и большевики не хуже!

– Кто их знает. Нам все одно. Царь ли, Ленин ли, – только бы порядок был и покой. Совсем житья не стало.

Мужик слегка подхлестывал кнутом лошадь. Несло от него чем-то светлым, тихим и крепким, что всегда чуялось Кате в мужиках сквозь их жадность, жестокость и грубость.

Подъехали к калитке дачи. Мужик внес мешок и отказался взять деньги.

Керосиновая лампочка тускло освещала пыльные выступы камней в подвале. Отдушины были завешаны дерюгами. Ася месила лопатой известку, Агапов, в фартуке, клал поперечную стенку, Майя подавала камни. Из-за стенки выглядывали ящики, мешки с мукою, бочонки.

Говорили шепотом.

– А золото я вот в эту щель вмазываю. Запомните, девочки! Вот, зеленый камушек, на высоте моего роста.

Вывели стенку под самый свод. Завалили ее старыми ящиками, пустыми бочками. Затрусили пол сором. Выходили из подвала поодиночке, зорко вглядываясь в глухую темноту ночи.

У профессора пили чай. Он сегодня ездил в город читать свои лекции в народном университете, и Катя забежала узнать новости. Профессор был заметно взволнован. Наталья Сергеевна сидела за самоваром бледная, с застывшим от горя лицом.

– Добровольцы по всем дорогам уходят в Феодосию, а оттуда в Керчь. В городе полная анархия. Офицеры все забирают в магазинах, не платя, солдаты врываются в квартиры и грабят. Говорят, собираются устроить резню в тюрьмах. Рабочие уже выбрали тайный революционный комитет, чтобы взять власть в свои руки.

Наталья Сергеевна сказала:

– У нас сейчас стирает девушка с деревни, рассказывала: в Насыпное заночевали два офицера, – их ночью убили, раздели догола, и трупы увезли куда-то.

С террасы вбежала девушка-прачка, хлопнула зазвеневшей стеклянной дверью, крикнула на бегу: «Кадеты идут!» и в ужасе пробежала в кухню.

Вышли на террасу. С горы по дороге спускался высокий молодой офицер с лентой патროнов через плечо, в очень высоких сапогах со шпорами... В руке у него была винтовка, из-за пояса торчали две деревянные ручки ручных гранат. На горе, на оранжевом фоне заходящего солнца, чернела казенная двуколка и еще две фигуры с винтовками.

– Скажите, здесь живет профессор Дмитриевский?

– Это я.

– Вам письмо от вашего сына.

– Очень вам благодарен, поручик... Не зайдете ли выпить стакан чаю?

– Благодарю вас, меня товарищи ждут.

– Так ведите и их.

Офицер конфузливо улыбнулся.

– Ну, спасибо. Сейчас приведу.

Двуколка, нагруженная большим бочонком, спустилась с горы. Высокий взошел на террасу еще с двумя офицерами. Их усадили пить чай. Профессор и Наталья Сергеевна жадно стали читать письмо.

– Вам записочка от Мити, – сказал профессор Кате.

Записка была написана наскоро, взволнованным почерком. Митя писал, что их полк экстренно двинули к Керчи, что навряд ли скоро придется увидиться. «Катя, милая моя девушка! Навряд ли и вообще уж когда-нибудь увидимся. Прощай, не поминай лихом!»

Профессор спросил офицеров:

– Как положение?

Офицер в гусарской фуражке, с рыжими, подстриженными снизу усами, ответил:

– Обычное маневрирование. Из стратегических соображений войска передвигаются к Керчи.

Высокий усмехнулся, поколебался и вдруг махнул рукою.

– Какие там стратегические соображения! Просто гонят нас большевики. Да и гнать-то, в сущности, некого. Армии больше не существует, расплзлась по швам и без швов, как интендантские сапоги. И надеяться больше не на кого. Союзники от нас отступились, французы отдали большевикам Одессу...

Гусар сумрачно покосился на него.

– Вы не профессиональный военный, поэтому все вам и кажется так страшно. Во всякой войне бывают колебания в ту и другую сторону. Вот соберемся с силами, подойдут пополнения – и погоним красных, как стадо овец, вот увидите. Их только раз разбить, а дальше работа будет уж только нам, кавалерии.

Третий, очень молодой артиллерист-прапорщик, смуглый, с родинкою на щеке и с серьезными глазами, сдержанно возразил:

– С таким командным составом никого не разобьем.

Высокий с негодованием воскликнул:

– Ох, уж этот командный состав!.. Совсем, как при царе: бездарность на бездарности, штабы кишат франтами-бездельниками, которые и носа не кажут на фронт. Воровство грандиозное, наши солдаты сидят в окопах в рваных шинелишках, в худых сапогах, а в тылу идет распродажа обмундирования, все мужики в деревнях ходят в английских френчах и американских башмаках. В ресторанах шампанское потоками, миллионы летят, как рубли... А мы что делали на фронте? Вместо того, чтобы защищать перешеек – ведь сами говорят: Фермопилы – бросили нас далеко на север, три тысячи против пятнадцати тысяч красных, для того, видите ли, чтобы соединиться у Дебальцева с Деникиным. Ну, конечно, разбили нас и отбросили... А теперь транспорт наших крымцев пришел к Деникину, – он их не принял: вы, говорит, убежали от большевиков, вы мне не нужны.

Профессор встал.

– Извините, вы мне позволите написать письмо сыну?

Он ушел с женою. Катя, без кажущейся связи с разговором, сказала:

– На днях я ехала с одним мужиком из соседней деревни, он мне рассказывал: добровольцы отобрали у его зятя лошадь, последнюю, а когда он стал противиться, его застрелили.

Гусар враждебно смотрел на нее.

– Да ведь это все сказки! Как вы им верите!

Высокий устало отозвался:

– Нет, так бывает.

– Да ведь это же хуже большевиков!

– Мы хуже и есть. Недавно перестреляли из пулеметов сто двадцать красно-зеленых в каменоломнях. Они сдались, побросали винтовки, выкинули белый флаг. А мы их пулеметами.

– Сдавшихся!

– А они не так?

– Ну, и как на душе у вас?

Высокий усмехнулся.

– Ничего. Привыкли. Умом, конечно, понимаю, что нехорошо.

Замолчали. Катя сказала:

– Или вот еще, тот же мужик рассказывал. У нас тут недавно ограбили помещика Бреверна, к ним поставили казаков, и они ограбили мужиков. Одежду отбирали, припасы, вино.

Гусар тяжелым взглядом посмотрел на Катю. Она почувствовала, что он уж ненавидит ее всеми силами души.

– А как с ними иначе? Мы раздеты, голодаем, а они сыты, в тепле; продавать ничего не хотят, набивают подушки керенками...

Катя весело всплеснула руками.

– Да большевики совсем так же рассуждают о буржуях! Вот потеха!

Гусар прикусил губу. Прапорщик-артиллерист с родинкой тихо сказал:

– Если двадцатого числа не получим жалованья, придется и нам жить разбоем.

Высокий усмехнулся.

– А теперь не разбоем живем? Вон бочку вина везем, – заплатили мы за него?

Гусар заговорил взволнованно:

– Вы говорите – в сдавшихся стреляли. С немцами, с австрийцами мы были рыцари. А против большевиков мне совесть моя разрешает все! Меня пьяные матросы били по щекам, плевали в лицо, сорвали с меня погоны, Владимира с мечами. На моих глазах расстреливали моих товарищей. В родовой нашей усадьбе хозяевами расхаживают мужики, рвут фамильные

портреты, плюют на паркет, барабанят на рояли бездарный свой интернационал. Жена моя нищенствует в уездном городишке... Расстреливать буду, жечь, пытать, – все! И с восторгом! Развалили армию, отдали Россию жидам. Без рук, без ног останусь, – поползу, зубами буду стрелять!

Высокий задумчиво курил папиросу.

– У меня такой ненависти к большевикам нету. Но я человек деятельный, сидеть в такое время, сложа руки, не мог. А выбор только один: либо большевики, либо добровольцы. И я колебался. Но когда в Петрограде, за покушение на Ленина, расстреляли пятьсот ни в чем не повинных заложников, я почувствовал, что с этими людьми идти не могу. И я пошел к тем, кто говорил, что за свободу и учредительное собрание. Но у большинства оказалось не так, до народа им нет никакого дела. А народ ко всем нам враждебен, тому, что говорим, не верит, и всех нас ненавидит. Выходить можем только по несколько человек вместе, вооруженными. Вон на днях где-то тут поблизости, на греческих хуторах, нашли голые трупы двух офицеров... Буржуазия на нас молится, но ни кровью своею, ни деньгами поддержать не хочет.

Катя воскликнула:

– Зачем же вы тогда остаетесь?!

Гусар быстро поднял голову.

– То есть как это?

Высокий безнадежно махнул рукою.

– Нет, уж не уйти. Да и куда? Буду тянуть до конца. А разобьют окончательно, – поеду в Америку ботинки чистить. Теперь ко всему привык. Он показал свои мозолистые руки. – У меня своего – вот только эти сапоги. Имущество не громоздкое.

Мальчик-артиллерист с родинкою сказал:

– Что окончательно разобьют, я не верю. Пройдет же этот угар, народ поймет, что Россия, которую он же с такими муками создавал, не пустой звук. Нужно только продержаться, пока народ не отрезвеет.

– Мы недавно расстреляли двух офицеров, которые собирались уйти, сказал гусар.

Вошел профессор с письмом.

– А вы, Екатерина Ивановна, не напишете Мите?

– Нет.

Офицеры стали прощаться. Профессор предлагал им остаться переночевать, но они отказались. Гусар и артиллерист пошли взнуздывать лошадь. Высокий задержался на террасе с Катей.

– Вы знаете, такой ужас, такой кошмар! – говорил он. – Как мы до сих пор не сошли с ума!

Катя украдкой быстро оглянулась и вдруг решительно спросила:

– Скажите, вы хороши с Дмитрием Николаевичем?

– Да.

– Тогда вот что. Уговорите его, чтобы он ушел. И уходите сами. Как можно все это выносить за дело, в которое не веришь!

Офицер медленно покачал головой.

– Нет, ничего не стану говорить.

И, не прощаясь, пошел к двуколке.

Колеса загремели по каменистой дороге. В сухих сумерках из-за мыса поднимался красный месяц. Профессор взволнованно шагал по террасе, Наталья Сергеевна плакала. Катя горящими глазами глядела вдаль.

– Господи, какие у этого рыжего глаза! Какие пустые дырки! – Она нервно повела плечами. – Ой, какие тяжелые глаза! Да, он и пытать будет, и застрелит, если кто уйдет, – все!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.